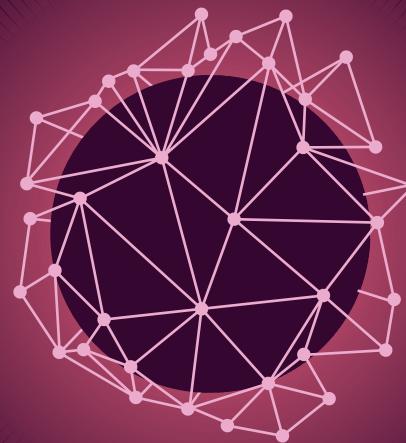




СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY



ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ: ЯЗЫК И ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Университет Гренобль-Альпы

**Дискурс легитимации:
язык и политика
в эпоху глобальных вызовов**

Монография

Под общей редакцией А.В. Колмогоровой

Красноярск
СФУ
2019

УДК 81'272:32

ББК 81.006.21

Д482

Рецензенты:

А. П. Седых, доктор филологических наук, заведующий кафедрой немецкого и французского языков Белгородского национального исследовательского университета;

В. П. Ходус, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального университета

Авторский коллектив:

Н. В. Грибачева (п. 3.2), Д. Диас (п. 2.1), А. А. Дорская (п. 1.1), А. Ю. Дорский (п. 1.1), А. В. Колмогорова (п. 1.2 и 2.4), А. В. Козачина (п. 3.1), О. Конкка (п. 1.3), В. Косов (п. 1.4), Д. Паласиос Гонсалес (п. 2.3), С. Роль-Аранджелович (п. 2.2), М. Сакка Каразо (п. 2.3), К. В. Снегирева (п. 2.4)

Д482

Дискурс легитимации: язык и политика в эпоху глобальных вызовов : монография / Н. В. Грибачева, Д. Диас, А. А. Дорская [и др.] ; под общ. ред. А. В. Колмогоровой. — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. — 216 с.

ISBN 978-5-7638-4130-5

Книга посвящена изучению взаимосвязей легитимации и политического дискурса. На примере стран Европы, а также России, Японии и США проведен анализ того, как политики используют значимые для всего общества или отдельной социальной группы феномены, события, явления для достижения внутри- и внешнеполитических целей: увеличения кредита доверия у электората, продвижения партии, укрепления единства страны, создания ее позитивного имиджа на международной арене.

Предназначена профессионально интересующимся проблемами идеологического дискурса, языка политики, но будет полезна и широкому кругу читателей, поскольку раскрывает универсальные механизмы осуществления воздействия в сфере политической коммуникации.

Электронный вариант издания см.:
<http://catalog.sfu-kras.ru>

УДК 81'272:32
ББК 81.006.21

ISBN 978-5-7638-4130-5

© Сибирский федеральный университет, 2019

Оглавление

Предисловие	5
Introduction	8
Глава I. ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: РОССИЯ	11
1.1. L'importance des traumatismes sociaux dans le processus de légitimation politique: l'expérience russe	11
1.2. Мифопоэтическая стратегия и стратегия рационализации как инструменты легитимации однополых браков в дискурсе российских либеральных медиа	25
1.3. Язык постсоветских школьных учебников истории: два уровня легитимации политического в дискурсе о прошлом	50
1.4. Le discours de légitimation du pouvoir politique russe: enjeux et controverses conceptuels et idéologiques	70
Глава II. ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: ЕВРОПА	88
2.1. Le fact-checking: arbitre de la parole légitime?	88
2.2. La question de la légitimation des derniers événements politiques en Catalogne	106
2.3. Spanish Civil War mass grave exhumations: Legitimations and de-legitimations in contemporary Spain	120
2.4. Стратегии и лексические средства легитимации и делегитимации религии во французских массмедиа	141

Глава III. ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: США и ЯПОНИЯ.....	168
3.1. Легитимирующие стратегии в японском педагогическом дискурсе (на материале «Курса морального воспитания»)	168
3.2. Стратегии (де) легитимации в конвергентной журналистике и журналистике погружения	189
Сведения об авторах.....	210
Liste des auteurs.....	212

Предисловие

Коллективная монография «Дискурс легитимации: язык и политика в эпоху глобальных вызовов» подводит своеобразный итог дискуссиям, состоявшимся во время Международного научного семинара *Légitimation du politique: discours, acteurs, pratiques*, проведенного под эгидой двух университетов — Университета Гренобль — Альпы и Сибирского федерального университета.

Легитимация в широком понимании — это процесс, посредством которого определенный феномен начинает восприниматься в социуме как желаемый, приемлемый, соответствующий его системе норм, ценностей и убеждений [Suchman, 1995]. В современном обществе легитимирующие стратегии и тактики пронизывают все сферы социальной жизни, но в наибольшей степени — политику.

Дискурс легитимации интересен всем акторам, участвующим в борьбе за «умы» граждан: правящим политическим силам, оппозиции, медиа, считающим себя особым общественным институтом.

Так, политические лидеры, независимо от формации и режима, в условиях медийной реальности и глобального информационного пространства сталкиваются с необходимостью обосновывать свои решения, формировать позитивно настроенное по отношению к таким решениям общественное мнение как внутри страны, так и на международной арене. В поисках ресурсов, способных сохранить «кредит доверия» со стороны избирателей, политические элиты обращаются к фактам истории страны, к ключевым концептам национального самосознания, международному праву. Силы оппозиции также не остаются в стороне от борьбы за «авторитет»: стремясь увеличить свой политический вес, они предпринимают попытки продвижения неприемлемых для большинства сообщества, но отражающих интересы его влиятельного

меньшинства социальных практик. В это время медиахолдинги и профессиональные сообщества журналистов формируют собственный имидж «истины в последней инстанции», выстраиваемый на делегитимации как власти, так и оппозиции.

Междисциплинарный проект, инициированный интернациональной командой лингвистов, правоведов, антропологов, ставит своей целью всестороннее изучение дискурсивных средств, в том числе специфического словаря и грамматики, используемых для легитимации политических решений и инициатив в разных странах. В фокусе внимания исследователей — Россия, европейские страны (Франция, Испания, Германия), а также Япония и США.

Диапазон рассматриваемых проблем достаточно широк. На примере России анализируются социальные травмы (репрессии, ГУЛАГ) как инструмент легитимации действий института государственной власти (п. 1.1 А. А. Дорская и А.Ю. Дорский); дискурсивные стратегии легитимации однополых браков в российских либеральных медиа (п. 1.2 А.В. Колмогорова); роль советизмов в учебниках истории в формировании концепции патриотического воспитания в современном российском обществе (п. 1.3 О. Конкка); дискурсивные стратегии, модели и вocabulär, формирующие политическое кредо В.В. Путина (п. 1.4 В. Косов). На материале немецких массмедиа рассматривается легитимирующий потенциал практики «факт-чекинга» (п. 2.1. Д. Диас). Соотношение легитимации и легитимности в обсуждении результатов референдума в Каталонии (п. 2.2. С. Рол-Аранделович), а также политические и пропагандистские цели кампаний по экгумации захоронений времен гражданской войны (п. 2.3 М. Сакка Каразо, Д. Паласиос Гонсалес) находятся в фокусе исследователей, изучающих дискурсивные и социальные практики в Испании. Французский массмедиийный дискурс является источником выборки для исследования комбинаторного и коммуникативно-дискурсивного потенциала лексем со значением «религия» и «религиозный» в аспекте стратегий легитимации / делегитимации религии в современном французском обществе (п. 2.4 А. В. Колмогорова, К. В. Снегирева). Предметом исследования также становится специфика и средства оправдания политической истории Японии и формирования мировоззрения юных японцев в эпоху глобального общества в педагогическом дискурсе «Курса морального воспитания» (п. 3.1 А. В. Козачина).

Кроме того, в третьей главе монографии представлены альтернативные стратегии (де)легитимации в гонзо-журналистике и журналистике погружения в американских интернет-изданиях (п. 3.2 Н. В. Грибачева).

Разнообразие стран и подходов, представленных в монографии, несмотря на некоторую эклектичность, позволяет увидеть *in pluribus unum* — легитимация проявляет себя как основа конфигурации демократической политики в контексте глобального общества.

Стремление представить легитимацию как многогранный феномен привело исследовательский коллектив к необходимости несколько отступить от композиционных канонов монографического издания. Книга представляет собой несколько разделов, написанных разными авторами, но объединенных одной целью — показать исключительную роль и обширный репертуар дискурсивных средств легитимирующих социальных практик.

*Анастасия Колмогорова
Валерий Косов*

Introduction

L'ouvrage collectif «Discours de légitimation: la langue et la politique à l'époque des défis globaux» résume de nombreuses discussions qui ont eu lieu lors du colloque international «Légitimation du politique: discours, acteurs, pratiques», organisé sous l'égide de deux universités — l'Université Grenoble Alpes et l'Université Fédérale de Sibérie.

La légitimation est, au sens large du terme, un processus visant à promouvoir un certain phénomène dans la conscience de masse, en faisant en sorte que ce dernier finisse par être accepté favorablement par la société, qui commencera alors à le percevoir comme parfaitement conforme aux normes de la communauté [Suchman, 1995]. Aujourd'hui le tissu social est imprégné par de nombreuses stratégies cherchant à légitimer de nouvelles pratiques, dans différentes sphères de la vie. Il est malgré tout évident que le secteur le plus exposé à ces stratégies est celui de l'action politique.

Tous les acteurs impliqués dans la lutte pour les esprits des citoyens sont consernés par le discours de légitimation: les élites politiques au pouvoir, leurs opposants, ainsi que les médias qui représenteraient une instance sociale à part.

Ainsi les hommes de pouvoir, quelle que soit leur couleur politique ou le régime dont ils sont issus, sont confrontés à la nécessité de justifier leurs décisions, et d'argumenter auprès de leurs concitoyens ou des partenaires internationaux afin de maintenir le consensus social. Cette nouvelle réalité est dûe au développement inédit de l'espace informationnel global, dont le rôle ne fait qu'augmenter avec le temps. En recherche permanente de ressources censées assurer le contrat de confiance avec l'électorat, les élites politiques puisent faits, exemples et arguments dans l'histoire de leur pays, ainsi que parmi les concepts-clés de la mentalité nationale, et dans le droit international. L'opposition, quant à elle, mène son combat pour asseoir sa propre autorité. Afin

d'augmenter son poids politique, elle entreprend de promouvoir des pratiques sociales qui sont bannies par la majorité de la communauté, mais qui incarnent les intérêts de quelque minorité puissante. Dans le même temps, en délégitimant ceux qui dirigent le pays aussi bien que ceux qui s'y opposent, les médias et les communautés professionnelles de journalistes veulent renvoyer l'image d'une vérité de dernière instance.

Le projet interdisciplinaire, initié par une équipe internationale de linguistes, spécialistes en droit et anthropologues, a pour objectif de mener une étude complexe des moyens discursifs, y compris du vocabulaire spécifique et des constructions grammaticales employés afin de rendre légitimes des décisions et des initiatives politiques au sein de pays différents. L'intérêt des chercheurs est surtout centré sur la Russie, les pays européens tels que la France, l'Espagne et l'Allemagne, mais aussi le Japon et les États-Unis.

Le paysage social pris en considération est assez large et varié. Parmi les sujets analysés en Russie apparaissent notamment le traumatisme social (répressions, goulag) examiné en tant que puissant instrument de légitimation au service du pouvoir d'État (**§ 1.1 A. Dorskaia et A. Dorskii**); les stratégies discursives visant à légitimer les mariages homosexuels et déployées dans des médias russes à la couleur libérale (**§ 1.2 A. Kolmogorova**); l'impact des soviétismes employés dans des manuels d'histoire sur la mise en place de la conception de l'éducation patriotique dans la société moderne russe (**§ 1.3 O. Konkka**); les stratégies, les schémas communicatifs et le vocabulaire formant le crédo politique de V. Poutine (**§ 1.4 V. Kossov**). Les médias allemands fournissent un riche matériel pour l'étude du potentiel de légitimation de la pratique médiatique de «fact-checking» (**§ 2.1. D. Dias**). Les rapports et l'équilibre entre deux phénomènes apparentés — légitimation et légitimité — dans les débats autour des résultats du référendum en Catalogne (**§ 2.2. S. Rol-Arandjelovic**) aussi bien que les objectifs politiques et de propagande de la campagne d'exhumation des corps de ceux qui sont tombés pendant la Guerre civile (**§ 2.3 M. Saqqa Carazo, D. Palacios González**) bénéficient du suivi attentif des chercheurs en pratiques sociales et discursives, en Espagne. Le discours médiatique en France est devenu une source de corpus ouvrant à l'étude détaillée de la combinatoire et du potentiel discursif des lexèmes religieux et religion dans des contextes légitimants et délégitimants la religion dans la conscience de masse (**§ 2.4 A. Kolmogorova, Ch. Sneguireva**). Sous l'optique du discours de légitimation sont aussi décrits les moyens de

justification du passé politique au Japon et de formation de la mentalité des jeunes Japonais à l'époque de la communauté globale dans le cours d'éducation morale enseigné aux écoles (**§ 3.1 A. Kozatchina**). L'ouvrage se termine par la description des stratégies de (dé)légitimation propres au journalisme de convergence et au journalisme d'immersion, en tant que deux pratiques journalistiques largement utilisées dans les médias américains (**§ 3.2 N. Gribatcheva**).

La diversité géographique et méthodologique des contributions permet de voir que, même à travers un certain éclectisme, *in pluribus unum* — la légitimation se profile comme un élément constitutif de l'action politique, dans le cadre d'une société démocratique et globalisée.

*Anastasia Kolmogorova
Valéry Kossov*

Глава I

ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: РОССИЯ

1.1. L'importance des traumatismes sociaux dans le processus de légitimation politique: l'expérience russe

La nature interdisciplinaire de la science moderne implique l’interaction constante entre différents domaines et écoles tant en termes de terminologie que de contenu. Ce texte est une tentative de réflexion juridique sur les phénomènes et les processus, jusqu’ici abordés et décrits essentiellement par la sociologie. La première question qui se pose est de savoir s’il est possible de parler de la dimension juridique de la légitimation de la politique comme telle. Après Max Weber il est devenu d’usage de faire la distinction entre les notions de légitimité et de légalité, la première faisant essentiellement partie du discours sociologique et politique et la deuxième — du discours juridique. Aujourd’hui, le lien entre ces deux concepts fait souvent l’objet de recherches, mais le plus souvent c’est la légitimité du légal qui est étudiée [Denisenko, 2014; Meklevik, 2014; Chernyakovskii, 2017]. Nous, de notre part, nous pencherons sur un autre aspect de leur interpénétration qui, à notre avis, s’inscrit davantage dans la continuité de l’œuvre de Weber. Sous cet aspect, la légalité est perçue comme la base de la légitimité, la présence de normes généralement contraignantes servant de justification pour la politique menée par l’État. Certes, les normes généralement contraignantes sont établies par le même État, mais la dénonciation de ce cercle vicieux est un argument impuissant contre la conscience des masses, car «en réalité, la subordination est conditionnée par des motifs extrêmement primitifs tels que la peur et l’espoir — la

peur de la vengeance des forces magiques ou du seigneur et l'espoir de récompense venant de l'au-delà ou d'ici — ainsi que par des intérêts très divers» [Veber, 1990: 646]. L'un de ces motifs bien réels est le besoin d'affiliation, de la préservation de la société où la loi est devenue quasiment le seul mécanisme de cohésion [Mal'tsev, 2000]. Une telle approche rend la réflexion juridique sur la légitimation de la politique tout à fait naturelle et impérative.

Par ailleurs, on rencontre de plus en plus souvent la notion de traumatisme social parmi les concepts juridiques. La théorie des traumatismes sociaux, fondée par le sociologue américain Jeffrey C. Alexander (né en 1947) et par le sociologue polonais Piotr Sztompka (né en 1944), a une incidence croissante sur d'autres sciences humaines et sociales [Bochkarev, 2018; Matchanova, 2018; Potapov, 2018]. Cependant, sa large diffusion n'a pas encore abouti à un consensus sur la portée du concept, et parlant plus spécifiquement du droit, cette théorie n'est pas suffisamment prise en compte.

Dans les travaux de J.C. Alexander, le traumatisme social est défini comme un concept culturel, le fait de l'attribution par la société du statut de «terrible» à un évènement réel ou imaginaire qui, de ce fait, laisse une empreinte indélébile dans la mémoire collective et change fondamentalement l'identité sociale [Alexander, 2004a: 1]. Alexander préfère utiliser le terme «traumatisme culturel», en gardant à l'esprit qu'il ne s'agit pas du fait d'une réalité objective (sociale), mais du codage de ce fait dans la culture. En outre, pour Alexander, le traumatisme est toujours lié à la question de la responsabilité de la souffrance et de la détermination de l'unité morale [Alexander, 2004b].

Pour P. Sztompka, les traumatismes sont des changements sociaux dans un sens plus large, leur cause principale étant la contradiction, notamment le conflit entre différentes valeurs culturelles et différentes interprétations de la réalité sociale [Sztompka, 2001: 6-16]. Tout changement implique inévitablement le passage du présent dans la catégorie du passé, c'est-à-dire dans l'histoire. Dans le cas de figure polonais, P. Sztompka a identifié trois domaines de manifestation du traumatisme social dans la société en mutation rapide qui, selon les experts modernes, sont tous les trois pleinement applicables à la réalité russe. Ce sont la démographie, la structure sociale et la culture [Shcherbakova, Gafiatulina & Samygin, 2017: 93]. Ainsi, les traumatismes sociaux sont avant tout subis par la population des pays qui connaissent de graves bouleversements sociaux ou bien qui font face à certains risques et menaces [Matchanova, 2018: 99].

Si pour Sztompka le traumatisme accompagne les changements, dans les interprétations psychanalytiques, il est perçu comme une sorte de paralysie du présent qui empêche de faire confiance au monde et aller de l'avant [Assmann, 2014: 22].

Certains auteurs font la distinction entre les polytraumatismes sociaux (événements traumatisques étroitement liés entre eux par le même espace social et le même créneau temporel) et les mégatraumatismes sociaux (bouleversements sociaux très puissants provoquant un choc et ayant un impact immédiat et fort sur la communauté sociale) [Borodenko, 2018]. D'autres estiment qu'il faut du temps pour prendre conscience et surmonter n'importe quel traumatisme social.

Ainsi, les premières informations sur l'Holocauste sont apparues peu de temps après la Seconde guerre mondiale, mais elles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt. Une certaine période de latence est nécessaire avant la prise de conscience et la compréhension de ce qui s'est passé [Eyerman, 2013: 134]. Plus cet évènement traumatisique s'éloignait dans l'histoire, plus la légitimation juridique de la politique menée par les États européens prenait de l'importance. Le 13 juin 1990, après l'affaire retentissante de Robert Faurisson, écrivain et professeur en lettres modernes français, qui niait le génocide nazi contre la population juive des pays européens et qualifiait de contrefaçon le journal d'Anne Frank [Shields, 1991], la France a adopté la loi Gayssot qui réprimait la contestation de l'existence de l'Holocauste et des décisions du Tribunal de Nuremberg et criminalisait les déclarations publiques racistes, antisémites et xénophobes, ainsi que la discrimination fondée sur l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (Loi № 90–615). En 1992, une loi similaire a été adopté en Autriche, en 1995 — en Belgique. Ensuite, la directive de l'Union européenne de 1996 a obligé les États-membres à criminaliser la contestation publique des crimes relevant de la compétence du Tribunal militaire international (Tribunal de Nuremberg), et le 28 novembre 2008, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (Décision-cadre 2008).

Plusieurs nations perçoivent toujours les évènements de la Seconde guerre mondiale comme une expérience traumatisante. Mais si pour les Russes, la Grande guerre patriotique reste plutôt un évènement du passé qui suscite de la fierté pour leur pays et leur peuple qui a su résister au nazisme, pour certains Polonais, par exemple, cette époque est

perçue comme une perte de la souveraineté, un complot des leaders totalitaires, etc.

Si l'on considère la politique de la Russie au cours de la période post-soviétique, on peut identifier deux scénarios possibles selon lesquels le pouvoir cherchait à légitimer sa politique en faisant recours à des traumatismes sociaux.

Le premier consiste à accentuer un traumatisme social. Dans ce scénario, trois actes principaux peuvent être distingués. D'abord, à la fin des années 1980^e, dans le cadre de la politique de *glasnost* (transparence), les leaders soviétiques s'employaient à construire une représentation de l'histoire soviétique comme celle d'un traumatisme social. À cette époque, sont parues de nombreuses publications sur les répressions de masse, la lutte intestine dans le parti, la collectivisation qui étaient aussi destructives pour l'État soviétique que les problèmes économiques.

L'histoire se poursuivit après l'effondrement de l'Union soviétique. Dans les années 1990^e, le législateur accordait une attention considérable au traumatisme soviétique. Ainsi, à cette époque, neuf lois ont été adoptées, affectant le thème de la répression politique soviétique. Il a été légalement établi que «Pendant les années du pouvoir soviétique, des millions de personnes ont été victimes de l'arbitraire de l'Etat totalitaire...» (Zacon № 1761–1). À titre de comparaison: dans les années 2000^e, il n'y a eu que trois lois mentionnant ce sujet. Le Président Eltsine a signé 5 décrets consacrés à la réhabilitation, les présidents Medvedev et Poutine — un chacun.

Un autre traumatisme social, qui a été construit à la fin des années 1980^e — au début des années 1990^e, consistait à jouer la «carte russe», si on reprend l'expression de Thomas Graham [Graham, 2006]. Une idée a été mise en avant, selon laquelle la Russie n'avait pas de véritable souveraineté au sein de l'URSS, ou plutôt qu'elle l'avait perdue, et donc qu'il était nécessaire de proclamer l'indépendance de la Russie, ce qui a eu lieu le 12 juin 1990 avec l'adoption de la Déclaration sur la souveraineté nationale de la Russie. Si pour certaines républiques soviétiques, comme par exemples les pays baltes, ce geste, venant saper l'idée de l'union, répondait pleinement à leurs intérêts, pour d'autres, bien au contraire, c'était un véritable choc. Notamment, les républiques d'Asie centrale n'étaient pas prêtes à un tel développement. Il est possible que par la suite, cet épisode, parmi d'autres facteurs, ait son impact sur le destin complexe de la Communauté d'États indépendants.

Enfin, les années 1990^e ont été marquées par l'émergence de nouveaux traumatismes sociaux. Il y avait un risque que la désintégration de l'État se poursuive, mais déjà au niveau national (la «parade des souverainetés», les évènements en République de Tchétchénie, etc.). Le niveau de vie de la population russe a chuté de manière dramatique. Les liens personnels, familiaux et professionnels se délitaien, les gens étant séparés par les frontières nationales après la chute de l'URSS.

Pourtant, on peut considérer qu'en général, la politique de la fin des années 1980^e et des années 1990^e était celle qui cultivait le traumatisme social. Cela lui permettait à la fois de fonder et de justifier les problèmes posés par le processus d'édification de la démocratie.

Dans les années 2000^e, l'orientation politique a changé. Le dépassement des traumatismes sociaux était présenté comme indicateur de la performance de la politique intérieure et extérieure de la Fédération de Russie.

Le dépassement du passé historique de la période soviétique en tant que traumatisme social a été symboliquement associé au nom du dernier monarque russe et à la révision des attitudes à l'égard de l'Église orthodoxe russe. Un évènement emblématique à cet égard a été la canonisation, le 20 août 2000, de Nicolas II et des membres de sa famille par l'Église orthodoxe russe (l'Église russe à l'étranger les a canonisés encore en 1981). L'inhumation des dépouilles des membres de la famille impériale, effectuée au cours de la période précédente (1998) n'avait donc pas de valeur nécessaire pour légitimer la politique moderne (Interfax, 2018). Il est caractéristique que dans «Le concept de politique d'État pour perpétuer la mémoire des victimes de la répression politique», qui donne un aperçu de l'histoire de la réhabilitation, seule la réhabilitation en 2008 des membres de la famille impériale est marquée comme un événement important après 1996 (Rasporyazhenie № 1561-r).

Les premières tentatives d'établir un nouveau partenariat entre l'État et les organisations religieuses ont été faites encore dans les années 1990^e. En 1990, les organisations religieuses ont retrouvé leur statut de personnes morales dont elles avaient été privées à l'époque soviétique. De 1988 à l'automne 1998, plus de 4000 biens immobiliers, dont 1900 monuments historiques et culturels d'importance fédérale et locale, ont été mis à la disposition des organisations religieuses. L'Église orthodoxe russe en a reçu 3500. Les reliques, les icônes qui étaient auparavant conservées dans les musées, étaient également transmises en

masse aux organisations religieuses. Au cours des dix premières années seulement, les musées ont remis plus de 15 000 objets [Shakhov, 2011: 55]. Le 30 novembre 2010, a été adoptée la Loi fédérale n° 327 de la Fédération de Russie intitulée «Sur la remise aux organisations religieuses des biens religieux détenus par l'État ou par les municipalités», venant consacrer le caractère légitime de ce processus.

Au fil du temps, la période soviétique perdait progressivement son caractère traumatisant. «Le concept de politique d'État pour perpétuer la mémoire des victimes de la répression politique» reprend les termes de La loi de 1991 sur des millions de victimes, mais contient une introduction complètement différente: «Le développement de la Fédération de Russie à l'heure actuelle se caractérise par une attention accrue de la société à des facteurs importants du développement durable du pays, comme la croissance du bien-être des citoyens et l'amélioration des relations publiques» (Rasporyazhenie № 1561-r). L'accent du traumatisme a été déplacé vers un développement stable. La Journée de la Victoire, directement associé à l'Union soviétique, est aujourd'hui considérée comme l'un des événements historiques majeurs, tant au niveau officiel qu'officiel.

Les traumatismes des années 1990e devaient être surmontés eux aussi. Cela explique de nouvelles tentatives d'unifier l'espace post-soviétique ou au moins une partie de celui-ci, qui ont d'abord abouti à la création de l'Union douanière entre la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan, puis à la fondation de la Communauté économique eurasiatique, et depuis 2015 — de l'Union économique eurasiatique.

La consolidation interne en tant que moyen de surmonter le traumatisme causé par la «parade des souverainetés» a fait évoluer la lecture des événements en République de Tchétchénie. La terminologie officielle s'est transformée. Depuis 1999, le terme *guerre* a été remplacé par l'expression *opération antiterroriste dans le Caucase du Nord* (RIA Novosti, 2009). Si au début des années 1990e, la Cour constitutionnelle a appuyé (avec quelques réserves) l'idée de la souveraineté des unités constitutives de la Fédération de Russie (Cour Constitutionnelle, 1992), en 2000, elle a radicalement révisé sa position, en déclarant que les unités constitutives fédérales ne peuvent pas exercer la souveraineté (Cour Constitutionnelle, 2000a; Cour Constitutionnelle, 2000b). Cette question s'est posée de nouveau en 2009, lorsque la Cour a constaté que dans certaines régions, ses décisions n'étaient toujours pas exécutées (Cour Constitutionnelle, 2009). Ce traumatisme a été définitivement surmonté avec l'introduction dans le Code pénal de la Fédération de Russie de

l'article 280.1 intitulé «Appels publics à des actes visant à la violation de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie».

Cependant, parallèlement à ce processus de dépassement des traumatismes sociaux déjà existants au sein de la société russe, on observe également l'émergence de nouveaux traumatismes. Piotr Sztompka, en définissant les stades du développement des traumatismes sociaux, fait valoir que le dépassement d'un traumatisme social peut se dérouler selon deux scénarios possibles: soit le traumatisme est surmonté, soit il fait démarrer un nouveau cycle, une nouvelle séquence de traumatismes, lorsque le traumatisme ancien, déjà atténué, renferme en soi des conditions propices pour l'émergence d'un nouveau type de traumatisme.

Pour donner un exemple du premier scénario, on peut citer certaines actions de la Russie visant à contrer la révision des résultats de la Seconde guerre mondiale. Ainsi, encore en mai 2014, l'article 354.1 interdisant la «réhabilitation du nazisme» a été introduit dans le Code pénal de la Fédération de Russie. Malgré des réactions mitigées à cette modification de la législation pénale, il est significatif que, de manière générale, la communauté internationale a soutenu la position et la formulation de la Russie. Le 16 novembre 2017, la Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à la majorité des voix la résolution sur la lutte contre la glorification du nazisme, le néonazisme et d'autres pratiques discriminatoires. Le document proposé par la Russie a reçu 125 suffrages en sa faveur sur 193 (Ministère des affaires étrangères, 2017). Ainsi, la Fédération de Russie a pu consacrer sa ferme position en l'inscrivant dans un cadre juridique.

Le deuxième scénario peut être illustré par une attitude ambiguë et largement contradictoire à l'égard de la révolution d'Octobre. D'une part, le gouvernement a souligné et souligne toujours l'importance des événements révolutionnaires de 1917 dans l'histoire de la Russie. Ainsi, le décret du président de la Fédération de Russie n° 1537 du 7 novembre 1996 «Sur la journée de la concorde et de la réconciliation» fait valoir que la révolution d'Octobre de 1917 a eu une incidence significative sur le destin de notre pays. Le 19 décembre 2016, le président de la Fédération de Russie a signé une ordonnance sur les préparatifs de la célébration du centenaire de la révolution de 1917 en Russie (Président, 2016), qui confiait l'organisation de la célébration à l'association «Société historique russe». Toute une série d'événements commémoratifs a été prévue à cet effet. D'autre part, la Russie n'a pas encore pris de position définitive à l'égard de son «passé révolutionnaire». Conformément à la

loi fédérale n° 32 du 13 mars 1995 «Sur les journées à la gloire des combattants et autres journées anniversaires de la Russie», le 7 novembre a été déclaré le jour du défilé militaire sur la place Rouge à Moscou en commémoration du vingt-quatrième anniversaire de la Grande révolution socialiste d'octobre (1941). Ensuite, comme nous l'avons déjà dit, en 1996, le 7 novembre a été déclaré Journée de la concorde et de la réconciliation. Depuis 2004, la Journée de l'Unité nationale est célébrée le 4 novembre, date symbolisant l'unification du peuple russe face au Temps des troubles pour protéger sa patrie, tandis que le 7 novembre a perdu son statut de jour férié depuis 2005. À la veille du centième anniversaire de la révolution d'Octobre, différentes forces politiques proposaient, entre autres, d'accorder une amnistie à cette occasion. Depuis 1994, l'amnistie a été déclarée 19 fois, notamment à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la Fédération de Russie. Le projet d'amnistie a été soumis à la Douma d'État en octobre 2017, mais aucune décision n'a suivi.

Ainsi, on peut conclure que la théorie des traumatismes sociaux est pleinement applicable au champ juridique et activement utilisée par les autorités pour légitimer leur politique. D'une part, le droit peut avoir ici une fonction préventive, c'est-à-dire empêcher l'émergence de nouveaux traumatismes sociaux. Les actes juridiques de ces dernières années permettent de dégager clairement l'un des objectifs de l'État russe qui est d'empêcher la révision des résultats de la Seconde guerre mondiale au sens global (par exemple sous forme de la réforme de l'ONU sans prise en compte de l'histoire de cette organisation internationale et des rapports actuels de force), mais aussi au niveau communautaire et personnel (le mouvement patriotique russe «Régiment immortel» montre que la mémoire de la guerre est honorée dans beaucoup de familles et la profanation de cette mémoire est très traumatisante). D'autre part, le droit peut aider la société à surmonter les traumatismes sociaux existants. Ainsi, les actes juridiques adoptés au cours des dernières décennies, relatifs à la célébration de la révolution d'Octobre de 1917, mettent en valeur la nécessité de chercher, face aux problèmes douloureux de longue date, des compromis favorisant la réconciliation et l'entente entre différentes forces du pays, au lieu des solutions radicales. Pendant la période post-soviétique, nous observons deux modèles complètement différents d'utilisation de traumatismes sociaux pour légitimer les politiques poursuivies. Le premier modèle consiste à cultiver le traumatisme social en s'appuyant sur les aspects négatifs de l'histoire pour bâtir une politique fondée sur le déni du passé récent. Le

deuxième modèle vise à démontrer la force du pouvoir à travers sa capacité de surmonter ou atténuer les traumatismes sociaux, pour attirer ainsi de nouveaux sympathisants.

Bibliographie

- Alexander, J.C. (2004a). Toward a Theory of Cultural Trauma, in: *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkeley, Los Angelos, London: University of California Press, pp.1-30.
- Alexander, J. (2004b). On the Social Construction of Moral Universals: The ‘Holocaust’ from War Crime to Trauma Drama, in: *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkeley, Los Angelos, London: University of California Press, pp. 196-263.
- Assmann Aleida (2014), *Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* (B. Khlebnikov, trad.), Moscou, Novoe literaturnoe obozrenie (Ouvrage original publié en 2006 sous le titre *Der Lange Schatten der Vergangenheit*, Munchen).
- Bochkarev, S.V. (2018). Politiko-pravovoi opyt Frantsii po osmyslyu sotsial'ny'kh transformatsii vtoroi poloviny' XIX v. [L'expérience politico-juridique de la France sur la compréhension sociale des transformations de la seconde moitié du XIXe siècle (en russe)], *Vestnik Akademii prava i upravleniya*, 2 (51), pp. 67-72.
- Borodenko, O. V. Kul'turnaya travma i sotsiokul'turnaya sfera obshchestva [Traumatisme culturel et sphère socioculturelle de la société]: URL: <https://www.sworld.com.ua/simpoz8/64.pdf> (consulté le 2 juillet 2018).
- Chernyakovskii, A.V. (2016). Legitimnost' pozitivnogo prava i uchastie obshchestva v prinyatii zakonodatel'nykh reshenii [La Légitimité du droit positif et de la participation de la société dans des décisions législatives (en russe)], *Printsip formal'nogo ravenstva i vzaimnoe priznanie prava*, Moscou, Prospekt, pp. 324-336.
- Denisenko, V.V. (2014). *Legitimnost' kak kharakteristika sushchnosti prava. Vvedenie v teoriyu* [Légitimité comme une caractéristique de l'essence du droit. Introduction en théorie (en russe)], Moscou, Yurlitinform.
- Eyerman, R. (2013). Sotsial'naya teoriya i travma (D. Hlevnuk, trad.), *Sotsiologicheskoe obozrenie*, 12 (1), pp.121-138 (Ouvrage original publié en 2013 sous le titre «Social theory and trauma», *Acta Sociologica*, 56 (1), 41-53).

Graham, Th. E. (2007). *Rossiya: upadok i neopredelenny'e perspektivy' vozrozhdeniya* (L. Pantina, trad.). Moscou, Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (Ouvrage original publié sous le titre *Russia's decline and uncertain recovery*).

Interfax (2018). Za 20 let prebyvaniya «ekaterinburgskikh ostankov» v usypal'nitse Romanovy'kh v Peterburge oni ne stali ob'ektom palomничества, Interfax. Religiya. 17 iyulya 2018 goda. [Pour 20 ans de séjour des «restes d'Ekaterinbourg» dans le tombeau des Romanov à Saint-Pétersbourg, ils ne sont pas devenus l'objet du pèlerinage (en russe)]. URL: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&-div=70251> (consulté le 19 juillet 2018).

Mal'tsev, G.V. (2000). *O proiskhozhdenii i rannikh formakh prava i gosudarstva. Pyat' lektsii* [Sur l'origine et les formes du droit et de l'état. Cinq conférences (en russe)], Moscou, Izdatel'stvo RAGS.

Matchanova, Z. Sh. (2018). Razvitie rossiiskogo antiterroristicheskogo zakonodatel'stva kak sposob preodoleniya sotsial'noi travmy' [«Institut de la loi antiterroriste comme un moyen de surmonter le traumatisme social» (en russe)], *Rossiiskoe gosudarstvovedenie*, 2, pp. 98–104.

Matchanova, Z. Sh. (2018). Terroristicheskii akt kak sotsial'naya travma: kriminologicheskii analiz [«L'acte terroriste comme le traumatisme sociale: analyse de kriminologie (en russe)», *Vestnik Akademii prava i upravleniya*, 2 (51), pp. 107–112.

Meklevik, B. (2014). Legitimnost' i prava cheloveka (trad. V. Tokarev), *Pravovedenie*, 6 (317), 55–65 (Ouvrage original publié en 2003 sous le titre «Légitimité et droits de l'homme», *Enjeux et perspectives des droits de l'homme. L'Odyssée des Droits de l'homme*, III, Paris, 213–222).

Potapov, Yu.A. (2018). Reabilitatsiya kak gosudarstvenno-pravovoи faktor preodoleniya sotsial'noi travmy' [«La réhabilitation comme un facteur juridique pour surmonter le traumatisme social» (en russe)], *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii*, 2, pp. 27–30.

Shakhov, M.O. (2011). *Pravovye osnovy deyatel'nosti religiozny'kh ob'edinenii v Rossiiskoi Federatsii* [La base juridique des activités des associations religieuses dans la Fédération de Russie (en russe)], Moscou, Izdatel'stvo Sretenskogo monastyrja.

Shcherbakova, L.I., Gafiatulina, N. Kh. & Samygina, S.I. (2017). Sotsial'noe zdorov'e rossiiskoi molodezhi v svete teorii sotsiokul'turnoi travmy' [La santé sociale de la jeunesse russe à la lumière de la

théorie du traumatisme sociocultural (en russe)], *Gumanitarny'e, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvenny'e nauki*, 6–7, pp. 90–96.

Shields, J.G. (1991). France: French revisionism on trial: The case of Robert Faurisson, *Patterns of Prejudice*, 25:1, pp. 86–88.

Sztompka, P. (2001). Sotsial'ny'e izmeneniya kak travma (trad. A. Moiceeva, N. Romanovskii), *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 1, pp. 6–16.

Veber, M. (1990). *Izbrannyy'e proizvedeniya* (trad.) [Œuvres choisies (en russe)], Moscou, Progress.

Liste bibliographique des exemples

Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie (1992), Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RSFSR ot 13.03.1992 g. № P-RZ-1/1992 po delu o proverke konstitutsionnosti Deklaratsii o gosudarstvennom suverenitete Respubliki Tatarstan ot 30 avgusta 1990 goda, Zakona Respubliki Tatarstan ot 18 aprelya 1991 goda «Ob izmeneniyakh i dopolneniyakh Konstitutsii (Osnovnogo Zakona) Respubliki Tatarstan», Zakona Respubliki Tatarstan ot 29 noyabrya 1991 goda «O referendume Respubliki Tatarstan», Postanovleniya Verkhovnogo Soveta Respubliki Tatarstan ot 21 fevralya 1992 goda «O provedenii referenduma Respubliki Tatarstan po voprosu o gosudarstvennom statuse Respubliki Tatarstan», [Décision de la Cour Constitutionnelle de la RSFSR du 13 mars 1992 № P-RZ-1/1992 dans l'affaire de la vérification de la constitutionnalité de la Déclaration de souveraineté de la République du Tatarstan du 30 août 1990, la Loi de la République des Tatarstan du 18 avril 1991, «Sur les modifications et ajouts à la Constitution de la République du Tatarstan», la Loi de la République des Tatarstan du 29 novembre 1991 «Sur le référendum de la République du Tatarstan», Décisions du Conseil Suprême de la République Tatarstan du 21 février 1992 «Sur la tenue du référendum de la République Tatarstan sur le statut d'état de la République du Tatarstan» (en russe)], Konstitutsionny'i Sud Rossiiskoi Federatsii: URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision40636.pdf> (consulté le 19 juillet 2018).

Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie (2000a) Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 07.06.2000 g. № 10-P/2000 po delu o proverke konstitutsionnosti otdel'nykh polozhenii Konstitutsii Respubliki Altai i Federal'nogo zakona «Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel'nykh (predstavitel'nykh) i ispolnitel'nykh organov gosudarstvennoi vlasti sub»ektov Rossiiskoi

Federatsii» [Décision de la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie du 07.06.2000 № 10-P / 2000 dans l'affaire sur la vérification de la constitutionnalité de certaines dispositions de la Constitution de la République de l'Altaï et de la Loi fédérale sur les principes généraux de l'organisation des organes législatives (representatives) et des organes exécutives de l'état des sujets de la Fédération de Russie», en russe], Konstitutsionny'i Sud Rossiiskoi Federatsii: URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30359.pdf> (consulté le 19 juillet 2018).

Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie (2000b), Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 27.06.2000 g. № 92-O/2000 po zaprosu gruppy deputatov Gosudarstvennoi Dumy o proverke sootvetstviya Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii otdel'nykh polozhenii konstitutsii Respubliki Adygeya, Respubliki Bashkortostan, Respubliki Ingushtiya, Respubliki Komi, Respubliki Severnaya Osetiya — Alanija i Respubliki Tatarstan, Konstitutsionny'i Sud Rossiiskoi Federatsii [Décision de la cour constitutionnelle de la Fédération de Russie du 27 juin 2000 n ° 92-O / 2000 sur demande groupes de députés de la Douma D'Etat sur la vérification de la conformité la Constitution de la Fédération de Russie de certaines dispositions des constitutions de la République Adygeya, République du Bachkortostan, République d'Ingouchie, République de Komi, République Ossétie du Nord-Alanie et de la République du Tatarstan (en russe)]: URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision32184.pdf> (consulté le 19 juillet 2018).

Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie (2009), Konstitutsionny'i sud predlozhil respublikam RF zaby't' o suverenitete, Konstitutsionny'i Sud Rossiiskoi Federatsii [La Cour Constitutionnelle a proposé aux républiques de la Fédération de Russie d'oublier la souveraineté (en russe)]: URL: <http://www.ksrf.ru/ru/Press-srv/Smi/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=1764> (consulté le 19 juillet 2018).

Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. URL: <https://publications.europa.eu/lu/publication-detail/-/publication/f015ed06-b071-41e1-84f1-622ad4ec1d70/language-fr>.

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006076185&dateTexte=vig> (consulté le 21 novembre 2018).

Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie (2017), Kommentarii Departamenta informatsii i pechati MID Rossii v svyazi

s prinyatiem v Tret'iem komitete 72-i sessii General'noi Assamblei OON rezolyutsii o bor'be s geroizatsiei natsizma, Ministerstvo inostranny'kh del Rossiiskoi Federatsii [Commentaire du Département de l'information et de la presse du Ministère russe des affaires étrangères concernant l'adoption par la troisième Commission de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies d'une resolution sur la lutte contre l'héroïsme du nazisme]. URL: http://www.mid.ru/foreign-policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2953418 (consulté le 2 juin 2018).

Président de la Fédération de Russie (2016), Rasporyazhenie Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 19.12.2016 g. № 412-rp o podgotovke i provedenii meropriyatii, posvyashchennykh 100-letiyu revolyutsii 1917 goda v Rossii [La disposition du Président de la Fédération de Russie de 19.12.2016, № 412-rp sur la préparation et la tenue des manifestations consacrées au 100E anniversaire de la révolution 1917 ans en Russie (en russe)], Prezident Rossiiskoi Federatsii. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41498> (consulté le 7 avril 2018).

Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 15.08.2015 № 1561-r «Ob utverzhdenii Koncepции gosudarstvennoj politiki po uvekovecheniyu pamyati zhertv politicheskikh repressij» [Ordonnance du gouvernement de la Fédération de Russie du 15.08.2015 N1561-r «Sur l'approbation du Concept de politique d'État sur la perpétuation de la mémoire des victimes de la répression politique»]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184562&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9576189367553278#06553695061748253> (consulté le 25 décembre 2018).

RIA Novosti (2009), *Kontrterroristicheskaya operatsiya v Chechne 1999–2009 gg. Spravka* [Opération contre-terroriste en Tchétchénie 1999–2009. Aide (en russe)]. URL: https://ria.ru/defense_safety/20090326/166106234.html (consulté le 2 mai 2018).

Zakon Rossijskoj Federacii ot 18.10.1991 № 1761-1 «O reabilitacii zhertv politicheskikh repressij» [Loi de la Fédération de Russie du 18 octobre 1991 № 1761-1 «Sur la réhabilitation des victimes de la répression politique»]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292670&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6522257996260628#0014954465692826213> (consulté le 25 décembre 2018).

Роль социальных травм в процессе политической легитимации: опыт России

Анализируется роль феномена социальных травм в процессе легитимации государственной политики в постсоветской России. Вслед за Дж. Александром под социальной травмой понимается социокультурный феномен, заключающийся в том, что некоторое реальное или вымышленное событие в жизни общества получает в коллективном сознании статус «ужасного» и как таковое закрепляется в памяти народа, оказывая тем самым существенное влияние на национальное самосознание. Последствия социальных травм особенно явно прослеживаются в культуре, функционировании социальных структур, демографическом состоянии общества.

На примере двух периодов в истории России — 80–90-е гг. XX в. и период с 2000 г. по настоящее время — показано, каким образом российские власти используют события советского периода, оставившие отпечаток в культурной и социальной памяти россиян, для легитимации принимаемых политических решений.

На материале текстов законодательных актов, принятых в указанные периоды, сделан вывод о том, что юридический дискурс может на определенных отрезках истории государства становиться как средством предотвращения социальных травм, так и инструментом их преодоления.

Описаны два типичных сценария легитимирующего использования социальных травм: их акцентирование или, напротив, преодоление и предупреждение нового травмирующего воздействия.

Отмечено, что для постсоветского периода в 80–90-е гг. было характерно стремление политиков сконцентрировать внимание сограждан на горьком опыте, полученном в советскую эпоху (репрессии), чтобы объяснить проблемы, возникающие в процессе построения демократии. Именно в это время принимается ряд законодательных актов, в которых подчеркивается тоталитарный характер политического режима в СССР, ставший причиной многочисленных жертв, например, Закон РФ № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

Начиная же с 2000-х гг. просматривается противоположная тенденция — преодоление социальных травм стало рассматриваться как индикатор успешности внутренней и внешней

политики Российской Федерации, а также предупреждение новых возможных негативных воздействий на коллективную память. Примером последнего типа может быть введение в Уголовный кодекс РФ в мае 2014 г. ст. 354.1 о запрете реабилитации нацизма, а также принятие Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по предложению России 16 ноября 2017 г. резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик. Аналогичные меры приняты и в контексте семейной, личной памяти — государственную поддержку получает идея «Бессмертного полка», возникшая в результате общественной инициативы.

1.2. Мифопоэтическая стратегия и стратегия рационализации как инструменты легитимации однополых браков в дискурсе российских либеральных медиа

Представлено описание роли двух дискурсивных стратегий легитимации официальных однополых браков в российском гражданском обществе.

На основе публикаций в таких СМИ, как «Эхо Москвы», «Сноб», «Московский комсомолец», информационного портала собака.ru, а также материалов известных блогеров, рассмотрено, каким образом российское общество пытаются постепенно подвести к приятию нетрадиционной формы брачного союза, делая это так, чтобы в какой-то момент казавшееся абсолютно неприемлемым в силу глубоких социокультурных причин незаметно стало нормальным, будучи умело встроено в самые традиционные и стабильные контексты.

В социологии существует широко известная теория поступательного внедрения в массовое сознание первоначально совершенно неприемлемых идей — это так называемое «Окно Овертона». В 90-е годы XX столетия американским социологом Дж. Овертоном была предложена модель для оценки суждений по степени их приемлемости для открытого политического обсуждения. Суть теории сводится к тому, что в любом обществе существует определенная шкала мнений и оценок, применимых к любой идее, имеющей социально-политическую значимость.

Согласно Дж. Овертону [Overton Window. URL: <http://www.mackinac.org/OvertonWindow> (дата обращения: 13.03.2018)], на шкале последовательно расположены следующие оценочные вердикты: «Немыслимо», «Радикально», «Приемлемо», «Разумно», «Стандартно», «Действующая норма» (и в обратном порядке): «Стандартно», «Разумно», «Приемлемо», «Радикально», «Немыслимо». В борьбе за мнение сообщества по той или иной проблеме на каком-либо конкретном временном этапе его развития никогда не задействована вся шкала оценок, а только ее небольшая часть, включающая близкие друг к другу аксиологические суждения, например, «Немыслимо» — «Радикально». Однако политический истеблишмент, используя дискурсивные технологии организации направленного воздействия посредством массмедиа, может постепенно сдвигать фокус на шкале («окно») от «Немыслимо» — «Радикально» (сегодня) к «Радикально» — «Приемлемо» (через год), доводя таким образом общественное мнение до нужного состояния приятия (или неприятия). Приведем в несколько сокращенном виде описание действия «Окна Овертона», как оно описывается в статье Джо Картера «Как легко разрушить культуру за 5 шагов» [Carter. URL: <https://www.firebaseio.com/web-exclusives/2011/06/how-to-destroy-a-culture-in-easy-steps> (дата обращения: 13.03.2018)] применительно к проблематике однополых браков (перевод наш. — А.К.).

Шаг первый: от «Немыслимо» к «Радикально» — тематика гомосексуальных отношений в устойчивых парах становится предметом научных дискуссий в рамках симпозиумов, конференций. Обыватель обязательно заинтересуется если не однопольми браками, то мнением ученых, но для политтехнологов все равно, с какого «конца» загорится бикфордов шнур интереса к проблематике.

Шаг второй: от «Радикально» к «Приемлемо» — на этом этапе необходимо создание некоего эвфемистичного выражения, которое позволило бы говорить о проблеме, не нарушая общественного спокойствия, например, используя выражение «однополая любовь», которое сразу же окружает номинируемый феномен положительной коннотативной аурой слова любовь, ведь эросу в нашей культуре прощается многое.

Шаг третий: от «Приемлемо» к «Разумно» — нет ничего более разумного, как подчиниться какому-либо идолу, божеству.

В американском обществе таким идолом стал Индивидуализм — я таков, какой я есть, каким родился. В контексте обсуждаемой проблематики подобный лозунг максимально соответствует стратегии «разумного» осмысления явления, еще недавно казавшегося абсолютно неприемлемым.

Шаг четвертый: от «Разумно» к «Стандартно» — на данном этапе важно персонализировать проблему, найти для нее узнаваемое «лицо». Каждый член общества стремится к высокой социальной оценке, к приятию себя другими. Если селебрити говорят о том, что они сторонники однополой любви и их любят, у них миллионы поклонников, значит, это нормально. Люди не будут обожать кого-то плохого. Стань как они — и ты тоже будешь модным.

Наконец, пятый шаг: от «Стандартно» к «Действующей норме» — здесь нужно начать с создания комиссии по анализу общественного мнения в отношении обсуждаемой проблемы, а дальше предоставьте это дело политикам, и они доведут его до конца.

Каждый такой шаг проявляется себя в дискурсе посредством того или иного набора «излюбленных» стратегий легитимации. Таким образом, проанализировав при помощи методов критического дискурс-анализа корпус статей, опубликованных в ограниченный промежуток времени, и выявив номенклатуру стратегий, использованных в них, можно составить представление о том, на какой стадии в данный период находится процесс легитимации и на каком участке шкалы — «Окно Овертона». Так, было выявлено, что в период с 2013 по 2017 год это окно перемещалось от «Радикально» до «Приемлемо» и обратно [Колмогорова, 2018].

Цель исследования состоит в том, чтобы акцентировать внимание на роли двух стратегий — рационализации и мифопоэтической стратегии — в скольжении «Окна Овертона», наблюдавшемся в российских либеральных медиа, и установить посредством анализа степени выраженности данных стратегий в публикациях на тему однополых браков, в какой части шкалы локализовано «Окно» в 2018–2019 гг.

Материалом для анализа послужили статьи из так называемых либеральных СМИ, отобранные методом сплошной выборки в период с 2010 по 2019 г., из следующих источников:

- Электронный информационный портал «Проект Сноб», который позиционирует себя как «единственное в своем роде дискуссионное, информационное и общественное пространство

для людей, которые живут в разных странах, говорят на разных языках, но думают по-русски» (<https://snob.ru/basement>).

- Электронный информационный портал <http://www.sobaka.ru/>
- Электронная версия ежедневной газеты «Московский комсомолец», основанной в 1958 г. (www.mk.ru).
- Сайт радиостанции «Эхо Москвы» (рубрика «Блог») (www.echo.msk.ru/blog).
- Информационный портал [gazeta.ru](http://www.gazeta.ru/) (<https://www.gazeta.ru/>)
- Блог Ильи Варламова (<https://varlamov.ru>), который, в силу его большой популярности в сети, автор позиционирует с недавних пор как авторское СМИ, поскольку блогер предлагает возможность публикации на этой площадке всем, чье мнение представляет интерес: «Это авторское СМИ, где по-прежнему публикуются мои репортажи и озвучивается мое мнение. Это все тот же театр одного актера, но, помимо этого, я даю возможность людям, чье мнение считаю важным, высказаться. Это все тот же блог Варламова, и если там кто-то публикуется, я подписываюсь под каждым словом» (<https://www.the-village.ru/village/city/city/216401-varlamov>).

Таким образом, исследовательский корпус составил 26 статей по тематике легализации однополых браков в России.

Методология исследования базируется на теории легитимации, основы которой были заложены в американской социологии (М. Сачман, К. Джонсон, П. Толберт и Л. Зукер) а затем детализированы в теории дискурсивной легитимации в работах Т. ван Левена, Э. Ваара, Дж. Тиенари.

Для социологов легитимация — это процесс, обеспечивающий постепенное приятие сообществом некоторого объекта или феномена [Deephouse, Suchman, 2008], а для дискурс-аналитиков — разновидность дискурсивной стратегии, состоящей в конструировании чьей-либо легитимности или нелегитимности [Fairclough, 2003; Vaara, Tienari, 2008] посредством такого описания действий объекта легитимации, которое непротиворечиво и естественно «встраивает» их в систему существующих ценностей сообщества [Francesconi, 1982].

Вслед за [Tolbert, Zucker, 1996: 181] мы использовали теоретическое положение о трех стадиях легитимации: 1) *стадия теоретизации* — распространение знаний о полезности нововведения, его технических характеристиках, экономической рентабельности, а также признание адекватности инновации в качестве

выхода из какой-либо непростой ситуации; 2) *стадия продвижения нововведения* — создание в обществе позитивного отношения к инновации преимущественно за счет умелого включения ее в ценностную картину мира сообщества посредством искусственной медиаполитики, поддержки государства и общественных институтов; 3) *стадия окончательного укоренения инновации*, когда новшество становится естественной частью общего социального контекста и не вызывает уже более ни отторжения, ни протестов.

Для проведения дискурс-анализа за основу была взята классификация стратегий легитимации Т. ван Левена [van Leeuwen, 2008], включающая четыре основных *дискурсивных стратегии легитимации*, каждая из которых включает несколько субстратегий. Две из них мы просто обозначим, а на двух последних (стратегия рационализации и мифопоэтическая стратегия) остановимся подробнее, поскольку именно они являются своеобразными «маркерами» двух различных этапов процесса легитимации — стадии теоретизации и стадии продвижения объекта легитимации соответственно:

1) **Стратегия апелляции к авторитету** предполагает привлечение социального ресурса, внешнего по отношению к сфере, которой принадлежит объект легитимации.

2) **Стратегия моральной оценки** локализует объект легитимации на шкале «хорошо — плохо».

3) **Стратегия рационализации** призвана категоризировать и концептуализировать объект легитимации в когнитивном опыте целевой аудитории при помощи ряда логических операций (генерализации, включения и т. д.) и предполагает следующие субстратегии: а) целевая субстратегия, строящаяся по формуле (где X — объект легитимации, а Y — более обобщенная социальная цель или категория) «Я делаю X для того, чтобы добиться / получить Y»; б) инструментальная субстратегия, использующая формулу «Я достигаю Y при помощи X-а / благодаря использованию X»; в) субстратегия, ориентированная на результат, — «Y — это результат X-а» (например, город свободный от мусора, который легко и эффективно перерабатывается, — это результат раздельного сбора мусора); г) «определение» — объект легитимации X определяется через призму некоторой другой социально значимой деятельности, категории (например, через категории гражданской ответственности, толерантности и т. д.); д) «разъяснение» — объект легитимации X описывается в терминах оправданных

и необходимых действий людей, работающих или действующих в той сфере, которой Х принадлежит (например, некоторое решение правительства правильно, поскольку граждане поддерживают его, судя по письмам в редакции газет, интервью, результатам опросов общественного мнения); е) «предсказание» — объект легитимации Х помещается в будущий позитивный (в случае легитимации) или негативный (в случае делигитимации) сконструированный, как правило, от имени экспертов социальный контекст (принятие данной меры позволит в будущем...).

4) **Мифопоэтическая стратегия** обращена кrudиментам мифопоэтического сознания человека и включает такие субстратегии, как: а) поучительный рассказ, когда протагонист действует согласно социальной модели-объекту легитимации и получает за это награду; б) апокрифический рассказ — протагонист действует вопреки социальной модели-объекту легитимации, что приводит к чрезвычайно печальным последствиям; в) повествование с одной ярко выраженной сюжетной линией — в фокусе внимания рассказчика оказывается лишь одна линия повествования, которая сопровождается однозначной оценкой и зачастую сопровождается гиперболизацией (*миллионы людей по всей стране ждут...*); г) символическое, или инвертированное, повествование, когда объекту легитимации приписывается некая символическая функция — быть знаком новой эпохи, нового времени и т. д.

В качестве ведущего метода выступает метод критического дискурс-анализа в традициях школы Т. ван Дейка, предполагающий наблюдение за различными уровнями манифестации социального воздействия — от анализа макропропозиций через рассмотрение средств локальной семантики до выявления риторических приемов и ключевых метафор.

Предварительная гипотеза исследования состоит в том, что на стадии теоретизации медиа предпочитают в качестве ведущей дискурсивной стратегии использовать стратегию рационализации, а на стадии продвижения идеи признания законности однополых браков — мифоэтическую стратегию. При этом первая становится наблюдаемым маркером локализации «Окна Овертона» в зоне «Немыслимо», а вторая — в переходной зоне между «Радикально» и «Приемлемо». Следовательно, доминирование в медиаконтенте указанных выше изданий в период 2018–2019 гг. одной из указанных стратегий-маркеров станет косвенным

свидетельством актуального положения «Окна» в массовом сознании российского общества.

Отношение к однополым бракам в России

Открытое обсуждение нетрадиционных отношений началось в России в 2000-х гг. Начиная с этого времени общество то и дело будоражили яркие акции, призванные привлечь внимание к проблеме легализации однополых браков.

Так, первая такая акция состоялась 18 января 2005 г. в Савеловском ЗАГСе г. Москвы, где прошла регистрация заявления о вступлении в однополый брак между депутатом парламента Башкирии от партии («Яблоко») Эдвардом Мурзинным и главным редактором гей-журнала «Квир» и сайта Gay.ru Эдуардом Мишиным. Заявители не скрывали, что брак фиктивный и носит характер акции в поддержку сексуальных меньшинств. Получив отказ в регистрации, активисты оспорили это решение в суде, который поддержал решение ЗАГСа, а несколько позднее и Конституционный суд России отклонил жалобу «пары».

Аналогичная история произошла с участием двух активисток ЛГБТ Ирины Федотовой и Ирины Шипитко. Подав заявление о регистрации брака в Тверской ЗАГС г. Москвы, они получили отказ со ссылкой на Семейный кодекс РФ. Попытки пары обжаловать решение ЗАГСа в суде успеха не имели. В результате две лесби-активистки из России заключили брак в Канаде и по жаловались в Европейский суд по правам человека на отказ поженить их в России.

В 2018 г. граждане РФ П. Стоцко и Е. Войцеховский предприняли попытку легализовать свой брак, заключенный в Копенгагене, в России. Хотя формально они получили соответствующий штамп в паспорте в одном из МФЦ г. Москвы, позднее, после обнародования данного факта, они стали фигурантами административного дела «о порче документов».

Отношение гражданского общества к проблеме остается резко негативным, хотя и претерпевает некоторые «флуктуации».

Так, 18 апреля 2005 года Левада-Центр (<http://www.levada.ru>) провел опрос, в котором респондентов спрашивали: «Сегодня Нидерланды, Бельгия и Канада разрешили вступать в брак 19 однополым парам. Вы были бы за или против того, чтобы в России были разрешены браки между лицами одного пола (гэями или

лесбиянками)?». Определенно против высказались 28,8 % респондентов, скорее против — 34,4 %.

По данным аналогичного опроса, проведенного 23–26 июля 2010 г., 84 % россиян высказались против разрешения однополых браков в России. В 2015 г. эта цифра составила 80 % [ВЦИОМ, 2015]. В 2018 г. ситуация осталась примерно такой же: по данным ВЦИОМ (<https://www.gazeta.ru/social/2018/02/13/11648773.shtml>), 79 % опрошенных с предубеждением относятся к однополым связям. Лишь 15 % не осуждают и 9 % не видят в этом ничего предосудительного.

Таким образом, налицо ситуация, когда подавляющее большинство общества не хочет и не готово принять социальную практику заключения браков между людьми одного пола, однако социальное меньшинство, заинтересованное в легитимации данной практики и на общественном, и на законодательном уровне, демонстрирует желание обеспечить ее продвижение. Данный вопрос имеет и определенную политическую подоплеку, служа своего рода «водоразделом» между теми, кто поддерживает концепцию России как независимого от западных идеологий государства традиционных ценностей, и теми, кто симпатизирует этим самым «западным идеологиям». Последние зачастую разыгрывают «ЛГБТ карту» для легитимации собственных политических амбиций.

Результаты проведенного анализа (табл. 1) позволяют проследить определенные тенденции в смене видов легитимности, стадий и стратегий легитимации на протяжении временного отрезка с 2010 по 2017 г. Без сомнения, необходимо принимать во внимание относительность полученных результатов, ввиду относительно небольшой по объему выборки текстов. Однако полагаем, что данные наблюдения имеют ценность, поскольку позволяют выявить диагносцирующие векторы, направления в развертывании дискурса легитимации однополых браков в России.

Итак, в 2010 г. обсуждение проблематики однополых браков обнаруживает признаки первой стадии легитимации — стадии теоретизации, в контексте которой явление только становится предметом открытых дискуссий в обществе, хотя уже звучат робкие попытки представить гей-браки как выход из неких кризисных ситуаций глобального общества, например из кризиса перенаселения. На данном этапе доминирует опора на прагматическую легитимность, в рамках которой заинтересованная

Таблица 1

**Динамика смены типов легитимности, стадий и стратегий
легитимации в обсуждении проблематики однополых браков
в российских СМИ в период с 2010 по 2017 г.**

№ п/п	Год	Тип легитимно- сти	Стадия легити- мации/ положение «Окна Овертона»	Стратегии, субстратегии
1	2010	Прагматическая Моральная леги- тимность / длелегитимность	Теоретизации «Немыслимо» — «Радикально»	Моральной оценки (субстратегия абстрагирования)
				Рационализации (целевая субстра- тегия)
				Апелляции к авторитету в целях де- легитимации
2	2013	Моральная	Продвижения «Радикально» — «Приемлемо»	Отрицательной моральной оценки противников легитимации (оценоч- ная субстратегия, субстратегия аб- страгирования)
				Мифопоэтическая (рассказ об из- гнаннике)
3	2014	Прагматическая Моральная	Продвижения «Радикально» — «Приемлемо»	Апелляции к авторитету (эксперта)
				Моральной оценки (оценочная суб- стратегия, субстратегия аналогии)
				Рационализации (субстратегия определения)
				Мифопоэтическая (архетип трикстера)
4	2015	Прагма- тическая	Теоретизации «Приемлемо» — «Радикально»	Апелляции к авторитету (экспертов)
				Рационализации (целевая субстра- тегия)
5	2017	Прагматическая Моральная	Продвижения «Радикально» — «Приемлемо»	Апелляции к авторитету (большин- ства; «размытой» социальной струк- туры, института; традиции)
				Моральной оценки (субстратегии абстрагирования, аналогии, оценоч- ная субстратегия)
				Мифопоэтическая стратегия («поу- чительный рассказ»)
			Теоретизации «Приемлемо» — «Радикально»	Рационализации (целевая субстра- тегия, субстратегии определения и разъяснения)

в объекте легитимации пока маргинальная часть общества предпринимает попытки привлечь внимание к своей позиции остальной части социума. Последняя же пока не решается открыто поддержать ЛГБТ сообщество, обращаясь поочередно то к дискурсивным стратегиям легитимации, то — делегитимации. Что касается «Окна Овертона», то на обсуждаемом временном отрезке, очевидно, происходит его движение на шкале социальных оценок от «Немыслимо» к «Радикально».

В 2013-2014 гг. наблюдаем уже следующую стадию легитимации — стадию продвижения: в публикуемых материалах налицо стремление к созданию позитивного отношения в обществе к однополым бракам за счет формирования основ моральной легитимности при помощи разнообразных дискурсивных стратегий легитимации: моральной оценки, апелляции к авторитету, рационализации, мифопоэтической стратегии. Заметно смещение фокуса общественного внимания на ценностной шкале, согласно Окну Овертона, от отметки «Радикально» к «Приемлемо».

Однако уже на следующем временном отрезке 2015-2017 гг. заметно серьезное «торможение» движения «Окна»: оно как бы застывает между «Радикально» к «Приемлемо» и даже слегка «откатывается» назад к отметке «Радикально». Авторы публикаций вновь возвращаются к вопросу о «полезности» однополых браков для решения многочисленных социальных и даже политических проблем, вновь трактуют и разъясняют данное явление в терминах как можно более понятных и тривиальных для восприятия среднестатистического гражданина. Все это свидетельствует о возвращении обсуждения легитимности таких союзов к стадии теоретизации, которая, однако, в некоторых контекстах соседствует со стадией продвижения, о чем свидетельствуют примеры применения дискурсивных стратегий моральной оценки, апелляции к авторитету, мифопоэтической стратегии наряду со стратегией рационализации (последняя в большей степени маркирует стадию теоретизации).

Сопоставив стадию легитимации и используемые дискурсивные стратегии, можно увидеть, что две из стратегий, по-видимому, выполняют функцию «диагносцирующих маркеров», присутствие которых позволяет определить стадию, на которой находится процесс легитимации, а вслед за ней и точнее локализовать положение «Окна Овертона». Речь идет о стратегии рационализации как маркера стадии теоретизации и локализации

«Окна» на отрезке между «Немыслимо» — «Радикально» или — в случае отката назад — от «Приемлемо» к «Радикально», с одной стороны, и мифопоэтической стратегии, сигнализирующей о наступлении стадии продвижения и положении «Окна» на отрезке между «Радикально» — «Приемлемо», — с другой (табл. 1).

Итак, подробнее остановимся на субстратегиях, при помощи которых данные две стратегии реализуются, и на репертуаре языковых средств, используемых в качестве необходимого инструментария для их конструирования.

Специфика и языковые средства реализации стратегии рационализации

Текст Г. Янса «Ошибка природы» («Эхо Москвы», 2010) строится как текст-реакция, текст-реплика на попытки представителей заинтересованной в легитимации стороны, однополой пары Ирины Шепитько и Ирины Фет, вызвать общественный резонанс, спровоцировать обсуждение проблемы в обществе. В тексте заметно желание автора классифицировать действия и мотивы пары с точки зрения гетеросексуала (*Цель таких заявлений проста — привлечь внимание к собственной ущербности*), категоризировать и само явление (*Однополые браки — это нонсенс*), что свидетельствует о применении **субстратегии определения** для рационализации обсуждаемого объекта легитимации.

Статья М. Комарова «Почему в России не будут разрешены однополые браки» (2013 г.) выстроена с опорой на **целевую субстратегию**: легализация однополых браков в некоторых западных государствах рассматривается как мера, которая позволяет решить более глобальную проблему — проблему перенаселения: однополые браки *a priori* бездетны, следовательно, их легализация приведет к ограничению рождаемости без ущемления прав кого бы то ни было.

Переходя к ситуации в России, доцент МАТИ М. Комаров указывает на то, что у нас в стране перенаселены только центральные районы, а в регионах, наоборот, — недонаселение. Отсюда вывод: легализация однополых браков в стране пока не выгодна с точки зрения geopolитики и демографии, но первые «звоночки» перенаселения уже видны в г. Москве и Московской области. Важным результатом применения стратегии рационализации является «перемещение» разговора о нетрадиционных супружеских отношениях в сферу научных проблем (автор и позиционирует

себя как доцента), а точнее — проблем демографии, порожденных *объективной реальностью*:

1) Признаем, большинство правительств современных государств с неодобрением относятся к противоестественным однополым бракам. Однако они вынуждены реагировать на объективную демографическую реальность своих стран, в большинстве которых количество населения превышает санитарно социальные нормы (М. Комаров «Почему в России не будут разрешены однополые браки»).

Прилагательное *объективный* в целом является одним из ключевых слов текста: *объективная реальность*, *объективные причины*. Часть текста, в которой представлена данная субстратегия, изобилует терминологией и устойчивыми сочетаниями, характерными для научного функционального стиля: *взаимозависимые социальные проблемы*, *фактор*, *плотность населения*, *критерий*, *политика народонаселения*, *численность*, *лимитирование притока мигрантов*.

В материале М. Стацика «Ира Шумилова и Алена Фурсова: «Нам важно было заключить брак именно в нашей стране, в России»» (2014 г.) стратегия рационализации представлена достаточно скромно небольшим пассажем, в котором в контексте юридической трактовки границы брака расширяются и размываются:

2) Для чего нужен институт брака? Он *закрепляет родственные связи на официальном уровне между людьми, которые изначально не были родственниками* (хотя в официальной трактовке формулировка имеет следующий вид «Брак — это юридически оформленный, свободный и добровольный *союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности*») (М. Стацик «Ира Шумилова и Алена Фурсова: «Нам важно было заключить брак именно в нашей стране, в России»»).

Таким образом, используя *субстратегию определения*, автор статьи устами своих героев обобщает объект легитимации до «трансформация не-родственников в родственников». Пассаж включает в себя лексические единицы, заимствованные из текстов юридического характера: *институт брака, закрепляет родственные связи, на официальном уровне*.

Статья Ст. Белковского «Однополая Россия: Как нам легализовать гей-браки», опубликованная в газете «Московский комсомолец» № 26872 от 30 июля 2015 г., построена с использованием

аргументативной модели дискурса. Один из ее аргументов сформулирован на основе **целевой субстратегии**: журналист полагает, что если бы легализация все-таки произошла, то это позволило бы «автоматически» снять проблему «конфликтной оппозиции сексуальных «большинства» и «меньшинства» как таковых», а также вопрос о так называемом гей-лобби во многих областях социальной жизни. Следуя той же тропой рационализации, автор текста отмечает: легализовав гей-браки, Россия пробует брешь в стене международной изоляции:

3) *Мне думается, что в поисках выхода из международной изоляции легализация гей-браков — мощный geopolитический маневр. Причем начинать столь важную реформу можно в экспериментальном порядке, с отдельных регионов страны. Например, Республики Крым. Согласитесь, лозунг «Крым — наш!» на поверхности радужного флага, одного из символов гей-сообщества, резко повысит мировую популярность тезиса об имманентной принадлежности заветного полуострова к России)* (Ст. Белковский «Однополая Россия: Как нам легализовать гей-браки»).

Создать атмосферу «рационального» бурлеска автору помогает активное употребление лексики и клише газетно-публицистического стиля: *выход из международной изоляции, геополитический маневр, реформа, отдельные регионы страны*.

Публикация блогера Варламова с риторически насыщенным названием «Чем вам однополые браки не угодили? Я лично не против» (2017 г.) уже самим этим заголовком задает рационально-логическое направление мыслей.

В русской речевой практике конструкция «чем X-у не угодил (-ли) Y(-и)» является pragmatically маркированной и выражает оценку претензий или других негативных реакций X по отношению к Y как необоснованных. Сравните пример из НКРЯ:

4) *И никто не может четко определить, чего же он хочет. Чуть ли не все наши патриоты воспроизводят, пусть в более мягкой форме, «синдром Солженицына». То он всеми средствами беззастенчиво уничтожал советский строй — а теперь нос воротит от нового порядка. Мне даже порой становилось обидно за Ельцина и Чубайса — ну чем ему не угодили? Ведь уничтожили СССР — разве не об этом мечтали Александр Исаевич и его соратники (С. Г. Кара-Мурза. «Антисоветский проект»).*

При этом на уровне локальной семантики реализуется импликатура «X — нормальный, приемлемый». Таким образом, уже

в самом заголовке задается общая пресуппозиция дискурса: однополые браки — это нормально, хорошо, а претензии некоторых представителей общества не обоснованы.

В самом же тексте поста точкой отсчета для развертывания стратегии рационализации становится две субстратегии: **субстратегия определения и субстратегия разъяснения**. Блогер предпринимает попытку концептуализировать объект легитимации в терминах оправданных и необходимых действий людей, выбрав в качестве сферы-мишени для трансфера всего того, что обычавтели знают об однополых браках (можно назвать это фреймом), сферу права и юриспруденции, претендующую на абсолютную рациональность и нейтральность.

Подобный «трансфер» осуществляется на всех уровнях построения дискурса: 1) структурной организации; 2) семантических структур; 3) стилистических средств.

Так, во всех последующих абзацах публицистический дискурс активно мимикирует под дискурс права, заимствуя его клише, композиционную организацию, лексические составляющие.

Например, в обсуждаемой части текста важную роль выполняют логические коннекторы, синтаксические структуры и риторические фигуры, выполняющие функцию логической организации дискурса и призванные проиллюстрировать наглядно простоту решения проблемы, связанной с объектом легитимации, при условии перемещения ее в правовое поле: *с одной стороны... с другой стороны*; это X, который (*Это просто религиозные обряды, которые...; Это союз двух людей, которые...*); X — это Y (*Брак — это чисто юридическая формальность*); хиазм (*И не дело светского государства лезть в дела церкви, как и не дело церкви лезть в дела светского государства*).

В противовес экспрессивной лексике, призванной отразить актуальное состояние «брожения умов» вокруг проблемы (разговорное *тут-то он и поплынет* в значении ‘потерять уверенность, оконфузиться’, метафорическое употребление *токсичная тема*), стремясь разъяснить и определить однополые браки в рамках нейтрального контекста дискурса права, автор активно использует его терминологию и устойчивые клише: *институт брака, понятие брака, регулироваться государством, религиозное учреждение, не иметь никакой силы, право, пункты договора, стороны, условия совместного ведения хозяйства, узаконить отношения*.

Посредством тавтологии, понимаемой как стилистический мотивированный повтор однокоренных слов, находящихся в пределах предложения в отношениях непосредственного или опосредованного подчинения [Культура русской речи, 2011: 703], акцентируется концепт ПРОСТОТА, становящийся опорным для всей аргументации Варламова — «все станет простым, если мы будем рассматривать однополые браки как юридический прецедент»:

5) *По мне так, брак должен превратиться в простой договор, в котором две стороны просто будут оговаривать условия совместного ведения хозяйства* (Варламов И. А. «Чем вам однополые браки не угодили? Я лично не против»).

Используя **целевую субстратегию стратегии рационализации**, автор подводит читателей к мысли о том, что легализация однополых браков — это шаг на пути к реализации главной цели — цели построения правового государства, призванного защищать интересы «родных людей»:

6) *А вот то, что касается бракосочетания со стороны государства, — вопрос отдельный. Что такое брак? Это союз двух людей, который дает им определенные права. Например, право посещать в больнице тяжелобольного родственника, право на наследство или право не свидетельствовать против своего партнера в суде. По мне так брак должен превратиться в простой договор, в котором две стороны просто будут оговаривать условия совместного ведения хозяйства. При этом с точки зрения общества совершенно все равно, кто этот договор между собой заключит. Мужчина с женщиной, или две женщины, или мужчина с тремя женщинами. Если люди хотят жить вместе под одной крышей, если люди хотят вместе вести хозяйство, если они стали друг другу родными, то почему мы должны им отказывать в элементарных правах? Я даже не против, если союз о сожительстве будут заключать друзья. Много ведь случаев, когда два парня или две девушки какой-то период времени живут под одной крышей, становясь друг для друга почти родными людьми, при этом не являясь любовниками* (Варламов И. А. «Чем вам однополые браки не угодили? Я лично не против»).

В процитированном пассаже налицо прием генерализации, расширения, а затем и размывания границ категории субъектов брака — супругов. Понаблюдаем за выстроенной в тексте кореференциальной цепочкой: сначала супруги называются предельно

обобщенными номинациями люди — родственники, затем номинации становятся все более формальными партнеры — стороны, после максимального расширения границ и формализации категории предлагаются различные варианты членства в ней, которые уже не кажутся абсурдными — мужчина с женщиной, две женщины, мужчина с тремя женщинами, друзья.

В итоге ключевые концепты аргументирующего дискурса блогера в пользу легитимации однополых браков в контексте правового государства складываются в метонимическую последовательность: ПРОСТОТА — НЕЙТРАЛЬНОСТЬ — ФОРМАЛЬНОСТЬ — РАВНОДУШИЕ; апофеозом цепочки выступает ключевая фраза в сильной позиции текста:

7) А что касается штампа в паспорте, то мне лично все равно, кто и с кем договор подписан и кто кого в своей стальне трахает. А вам разве нет? (Варламов И. А. «Чем вам однополые браки не угодили? Я лично не против»).

В материале В. Целайло «Папа, папа, я — современная семья», размещенном на портале «Сноб» 3 октября 2017 г., стратегия рационализации реализуется за счет **субстратегии предсказания**: как бы опровергая излюбленный довод противников легитимации однополых браков о том, что дети, выросшие в такой семье, будут иметь искаженное представление о социальных нормах, автор создает текст, «мимикрирующий» под жанр научно-популярного обзора, в котором приводятся якобы научные факты, доказывающие обратное. Автор текста намеренно использует примеры исследований, проводившихся в странах, где подобные союзы стали делом привычным. Таким образом он как бы рисует будущее России после легализации гей-браков.

8) Несмотря на совсем юный возраст однополой семьи как ячейки общества в масштабах сегодняшних цивилизаций, первые исследования о влиянии пола родителей на развитие ребенка были проведены еще в 1981 году. Тогда было показано, что у детей 5–12 лет, воспитываемых матерями с разными сексуальными предпочтениями, не прослеживается разницы в восприятии места и функции гендера. Иными словами, различия в развитии детей и их ролевом поведении не имели отношения к ориентации их родителей (В. Целайло «Папа, папа, я — современная семья»).

Стилизация под научный текст очевидна благодаря устойчивым клише, маркирующим данный функциональный стиль (исследования о влиянии были проведены, было показано,

не прослеживается разницы), широкому использованию пассивного залога (*были проведены, было показано*) и перифраз (*иными словами...*).

Таким образом, следует отметить следующие специфические черты реализации стратегии рационализации в медиатекстах, посвященных проблеме легализации однополых браков в России:

- мимикрия под жанры и функциональные стили, пользующиеся большим авторитетом и доверием читателей, нежели текст СМИ (научный стиль, жанр юридических текстов);
- опора на аргументирующий тип дискурса [Charaudeau, 1992], что влечет за собой использование логических коннекторов, четких композиционных схем организации дискурса, а также метонимической модели концептуализации нового знания (в противовес метафорической, характерной для стратегии моральной оценки);
- лексическая гетерогенность: «дискурсивное притворство», заключающееся в том, что авторы стараются скрыть интенцию продвижения интересов некоторой политической и/ или социальной группы под маской одного из «объективных» жанров, приводит к тому, что наряду с терминологией, клише научного стиля или юридического жанра пассажи, реализующие рациональную стратегию, включают в себя и эмоционально окрашенную или экспрессивную лексику.

Специфика и языковые средства реализации мифопоэтической стратегии

Согласно Дж. Картерис-Блэк [Charteris-Black, 2009: 100], миф — это реализуемая нарративными средствами репрезентация значимого, но труднопередаваемого опыта, подсознательно связанного с переживанием эмоций грусти, счастья или страха. Именно эта подспудная связь с эмоциями является причиной того, что мифологические элементы часто подпитывают идеологии, становясь строительным материалом для формирования позитивной или негативной оценки какого-либо объекта или субъекта. Они часто проявляют себя в форме социальных нарративов, в основе которых — стереотипы, знания и верования.

Классическим примером такого нарратива является история, рассказанная в публикации «Экс-священник Артем Вечелковский: Я гей, но Бога не интересует, с кем я сплю» за авторством А. Соломонова (2013), где в центре интервью — повествование

с ярко выраженной сюжетной линией. Мальчик, который с детства осознает свою инаковость (*помню, отец везет меня на санках в детский сад, навстречу идет мужик, и он мне нравится*), учится на филолога (профессиональный выбор, характерный для «бессребреников»), искренне верящий в Бога (*верующим я стал в одно мгновение*), любящий свою профессию (*преподавать мне нравилось безумно, я был счастливым человеком, в том смысле, что занимался делом, которое люблю и знаю*), но разуверился, потерял Веру (*когда у тебя есть иллюзии, и они рушатся, трудно взять и сразу уйти. Столько лет на это было положено*), стал жертвой доноса, а потом и травли, познал судьбу изгнанника (*первые дни на улице ночевали. Потом друзья друзей нас приютили*), начав скромную жизнь пекаря в чужой стране (*мы делаем все по очереди: и готовим, и за кассой стоим, и убираем. Зарплата скромная, но на жизнь хватает*). В такой истории в полной мере реализуется архетип романтического изгнанника, честного, мучимого душевными сомнениями, гонимого, скромного и нетребовательного к материальному аспекту жизни. Это архетип столь популярный как в европейской (вспомним изгнание Эдипа из Фив за нарушение морального закона), так и в отечественной культурной традиции (вспомним «лишнего героя» классической русской литературы), по отношению к которому на протяжении многих поколений школой воспитывалась неизменная социальная эмпатия.

В уже упоминавшемся материале М. Стациюка «Ира Шумилова и Алена Фурсова: «Нам важно было заключить брак именно в нашей стране, в России»» мифопоэтическая стратегия уходит своими корнями в другой архетип — архетип трикстера и так называемый плутовской роман. Трикстер — «тень» культурного героя, его двойник и антипод — нарушает установленные правила, претерпевая физические и духовные трансформации и вводя окружающих в заблуждение. Персонаж склонен к злобным шуткам, которые становятся причиной страданий самого трикстера и которые, в свою очередь, ведут к «его постепенному превращению в спасителя и одновременно очеловечиванию...» [Юнг, 1999: 267]. В тексте статьи в образе такого трикстера предстает одна из героинь, первоначально бывшая мужчиной и имеющая паспорт на мужские имя и фамилию, но проходящая на момент интервью процедуру смены пола. Вот как описываются его/ ее действия:

9) «Расскажите поэтапно, как проходила подача документов?

Алена: Мы очень волновались перед этим, потому предприняли меры (смеется). Ира попыталась **переодеться в мужскую одежду, сняла макияж и маникюр. Она старалась говорить низким голосом**, но нам не очень поверили. Все-таки Ира уже не может притворяться парнем.

Сотрудники сперва смущились и ничего не поняли, попросили нас подождать за дверью, а сами устроили совещание. Затем они еще раз проверили документы и приняли заявление. Пока сотрудница загса оформляла бумаги, она улыбалась, смущалась, а после случился самый комичный момент: она принесла нам свои глубочайшие извинения, потому что «приняла нас за двух девушки» (М. Стацик «Ира Шумилова и Алена Фурсова: «Нам важно было заключить брак именно в нашей стране, в России»»).

Переодевания, притворство, замешательство сотрудников ЗАГСа, затем, по сути дела, их обман — вот основные признаки обсуждаемого архетипа, находящие свое воплощение в тексте публикации.

Следующая статья за авторством А. Алексеевой ««Мы с флагом не ходим, мы просто живем». Как в России вступают в однополые браки» (Сноб, 2017) построена как последовательность свидетельств однополых пар.

Организующей стратегией для третьего свидетельства (Юлия и Олеся) стала **мифопоэтическая стратегия, субстратегия поучительного рассказа**, где герой использует все преимущества объекта легитимации, и жизнь его становится лучше, чем была: жили-были две девушки, потом между ними пробежала «искра», они сначала поехали вместе в отпуск, потом стали жить вместе, а затем и поженились в далекой, но прекрасной Дании, где все ими восхищались, была хорошая погода (*светило солнышко*), невеста — в красивом (как у Золушки) платье, где все было как в сказке (*и тогда я подумала, что, наверное, в мире все-таки существует что-то сказочное*). А после бракосочетания стало еще лучше: Я *намного терпимее с ней стала. С ней все в моей жизни стало как-то по-другому, а после свадьбы появилось еще большие нежности.*

Переходя к недавним публикациям 2018 г., необходимо отметить, что в них нет ярко выраженных проявлений данной стратегии — она тонет в разнообразных формах моральной оценки уже не ЛГБТ сообщества, а его противников. Сторонники легализации

однополых браков, т. е. легитимирующие субъекты, коренным образом поменяли стратегию — для положительной презентации объекта легитимации они полагаются на дискредитацию тех, кто выступает против него.

Однако некоторые «осколки» мифopoетического образа однополой пары все-таки можно наблюдать. Так, в контексте обсуждения инцидента со Стацко и Войцеховским в публикации А. Бакланова «Первая признанная МВД гей-семья уехала из России после угроз» (2018) молодожены представляются в образе изгнанников и жертв произвола:

10) 27 января московские полицейские блокировали выход из квартиры, в которой жили мужчины, и мешали пройти внутрь их друзьям и знакомым. В тот же день в квартире на несколько часов отключили свет и интернет. «Адвокатам было сообщено, что ребята не смогут покинуть квартиру, если не сдадут паспорта, а при попытке выхода им будет вменено сопротивление полиции и уже будет возбуждено уголовное дело», — говорят в ЛГБТ-сети (А. Бакланов «Первая признанная МВД гей-семья уехала из России после угроз»).

Номинация мужчины заменяется сочувственным ребята после сообщения о том, что виновники инфоповода остались без друзей, знакомых, а также света и Интернета.

В то же самое время и по тому же случаю другое издание «Московский комсомолец» публикует интервью с парой, где идея «жертвенности» и «изгнанничества» сохраняется, но акцент смешается: молодожены оказались изгоями и в ЛГБТ-среде:

11) Мы разместили пост в соцсети. Друзья нас очень сильно поддержали. Но были и гомофобные высказывания, поступали угрозы, оскорблении. Очень поразила реакция некоторых участников московской ЛГБТ-организации. Нам никто не помогал и до сих пор не помогает. Хотя требовалась юридическая поддержка. В комментариях так называемые ЛГБТ-активисты поливают нас грязью! Это неожиданно. Я это объясняю эффектом ведра с крабами — когда тебе удается что-то, тебя пытаются свои затянуть назад в ведро («Проштамповавшие однополый брак мужчины испугались за сотрудницу МФЦ»).

Обилие лексики с семантикой агрессии (угрозы, оскорблений, поливать грязью), абсолютных слов [Al-Mosaiwi, Johnstone, 2018] (никто, не) призвано актуализировать эмоцию подавленности, артикулировать идею одиночества, покинутости. Важным

элементом для реализации архетипического противопоставления «я — они» является и апелляция к расхожему стереотипу о «ведре с крабами», символизирующему эгоистичное социальное поведение без рассмотрения долгосрочных последствий [Менталитет краба]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет_краба. Название происходит от поведения посаженных в ведро крабов: некоторые из крабов могли бы выбраться из ведра, но, когда они достигают границы ведра, другие крабы вцепляются в них и мешают им выбраться.

Таким образом, среди специфических языковых и речевых средств, используемых в рамках мифопоэтической дискурсивной стратегии легитимации однополых браков, отметим следующие:

- использование образных языковых средств, создаваемых на основе переносных значений лексем и словосочетаний (например, метафора *рушаются иллюзии*, символический образ «ведра с крабами»);
- опора на схемы и клише нарративного дискурса (*помню, потом, затем, в первые дни*);
- широкое использование экспрессивно-оценочных языковых средств, призванных передать эмоции говорящих (*безумно нравилось, поразила реакция, поливать грязью*).

Благодаря анализу дискурсивных стратегий легитимации проследив динамику смены стадий и видов легитимации однополых браков в том виде, в котором она просматривается в медиадискурсе либеральных СМИ, мы можем констатировать, что движение «Окна Овертона» в пространстве российского общественного мнения начиная с 2010 г. было достаточно прерывистым. Окно перемещалось от «Неприемлемо» к «Радикально» и даже «Приемлемо» (особенно это заметно в 2013–2014 гг.), но в 2017–2018 гг. стало ретироваться вновь к отметке «Радикально», о чем свидетельствует в том числе меньшая значимость мифопоэтической стратегии легитимации и, наоборот, большая частотность стратегии рационализации.

Последние две, по-видимому, действительно можно считать стратегиями-маркерами движения «Окна Овертона». Если вторая имеет своим объектом такую дискурсивную категорию, как логос, то первая глубоко фундирована в патосе и призвана пробудить эмоционально окрашенные образы коллективного бессознательного, которые бы способствовали принятию объекта

легитимации «в ряды» полноправных элементов ценностной картины мира этноса, национально-культурного коллектива.

И здесь нельзя не увидеть проявление на новой — массмедиийной — почве свойственного мифопоэтическим текстам феномена посредничества [Мелетинский, 2012: 168]: изгнанники, трикстеры и герои поучительных рассказов преодолевают пропасть между полюсами оппозиции «Неприемлемо» / «Стандартно» в отношении объекта легитимации.

Каждая из двух проанализированных стратегий тяготеет к специфическим языковым / речевым ресурсам и определенному типу дискурсивной организации: стратегия рационализации стремится «мимикрировать» под научный и научно-популярный дискурсивные жанры, а мифопоэтическая стратегия демонстрирует свое «родство» с нарративным дискурсом.

Список литературы

Колмогорова А. В. Дискурсивные стратегии легитимации однополых браков в российском медиапространстве // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 2. С. 99–117. DOI: 10.17516/2311-3499-021

Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сквородникова, Е. Н. Ширяева [и др.] 3-е изд., стер. М.: Флинта, 2011. 840 с.

Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 2012. 336 с.

Юнг К. Г. О психологии образа Трикстера // Трикстер: исследование мифов североамериканских индейцев с comment. К. Г. Юнга и К. К. Керены. СПб.: Евразия, 1999. С. 265–286.

Al-Mosaiwi M., Johnstone T. In an Absolute State: Elevated Use of Absolutist Words Is a Marker Specific to Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation // Clinical Psychological Science. 2018. Vol. 6(4). Pp. 529–542.

Carter J. How to destroy a culture in five easy steps. Available at: <https://www.firstthings.com/web-exclusives/2011/06/how-to-destroy-a-culture-in-easy-steps> (accessed the 13 March 2018)

Charaudeau P. Grammaire du sens et de l'expression. Paris: Machette, 1992. P. 779–835.

Charteris-Black J. Metaphor and political communication // A. Musolff & J. Zinken (Eds.), Metaphor and discourse. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2009. Pp. 97–115.

Deephouse D., Suchman M. Legitimacy in Organizational Institutionalism. In R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, & K. Sahlin (Eds.) //Sage handbook of organizational institutionalism. London: Sage, 2008. Pp. 49–77.

Fairclough N. Analysing discourse textual analysis for social research. — Routledge: London, 2003. 270 p.

Francesconi R. A. James Hunt, the Wilmington10, and institutional legitimacy // Q. J. Speech. 1982. Vol. 68. Pp. 47–59. <http://dx.doi.org/10.1080/00335638209383591>.

Overton Window. Mackinac Center for Public Policy. — URL:<http://www.mackinac.org/OvertonWindow> (дата обращения: 13.03.2018)

Screti F. Defending Joy against the Popular Revolution: legitimization and delegitimation through songs // Crit. Discourse Stud. 2013. Vol. 10 (2). Pp. 205–222. <http://dx.doi.org/10.1080/17405904.2013.764614>

Tolbert P. S., Zucker L. G. The institutionalization of institutional theory. In: Handbook of Organization Studies, SAGE. London, 1996. Pp. 175–90.

Vaara E., Tienari J. A discursive perspective on legitimization strategies in multinational corporations // Academy of Management Review. 2008. Vol. 33. Pp. 985–993.

Van Leeuwen T. Discourse and Practice: New tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford University Press, 2008. 192 p.

Список источников примеров

Алексеева А. «Мы с флагом не ходим, мы просто живем». Как в России вступают в однополые браки [Электронный ресурс] // Сноб. М URL: <https://snob.ru/selected/entry/122872>. (дата обращения: 23.02.2017).

Бакланов А. Первая признанная МВД гей-семья уехала из России после угроз [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mk.ru/social/2018/01/26/proshlampovavshie-odnopolyy-brak-muzhchiny-ispugalis-za-sotrudnicu-mfc.html> (дата обращения: 03.02.2019).

Белковский С. Однополая Россия: Как нам легализовать гей-браки // Московский комсомолец. № 26872. 2015.

Варламов И. А. Чем вам однополые браки не угодили? Я лично не против [Электронный ресурс]. — URL: <https://varlamov.ru/2520989.html>. (дата обращения: 23.02.2017).

Всероссийский опрос ВЦИОМ 05.07.2015 [Электронный ресурс]. — URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1166&q_id=78316&date=05.07.2015 (дата обращения: 10.09.2017).

Комаров М. Почему в России не будут разрешены однополые браки [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. — URL: https://echo.msk.ru/blog/mp_komarov/1013120-echo/ (дата обращения: 23.02.2017).

Менталитет краба [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет_краба (дата обращения: 10.09.2017).

Проштамповавшие однополый брак мужчины испугались за сотрудницу МФЦ [Электронный ресурс] // Московский комсомолец. — URL: <https://www.mk.ru/social/2018/01/26/proshstampovavshie-odnopolyy-brak-muzhchiny-ispugalis-zasotrudnicu-mfc.html> (дата обращения: 03.02.2019).

Соломонов А. «Наступило дикое время — время гоп-православия». Интервью священника и гей-пары [Электронный ресурс] // Сноб. — URL: <https://snob.ru/selected/entry/67675> (дата обращения: 23.02.2017).

Соломонов А. Экс-священник Артем Вечелковский: Я гей, но Бога не интересует, с кем я сплю [Электронный ресурс] // Сноб. — URL: <https://snob.ru/selected/entry/120444> (дата обращения: 23.02.2017).

Стацик М. Ира Шумилова и Алена Фурсова: «Нам важно было заключить брак именно в нашей стране, в России» [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.sobaka.ru/city/city/30213>. (дата обращения: 23.02.2017).

Целайло В. «Папа, папа, я — современная семья» [Электронный ресурс] // Сноб. — URL: <https://snob.ru/profile/30980/blog/129690> (дата обращения: 23.05.2018)

Янс Г. Ошибка природы [Электронный ресурс] // Эхо Москвы. — URL: <https://echo.msk.ru/blog/yans/697310-echo/> (дата обращения: 23.02.2017)

**Les stratégies mythopoétiques et rationnelles
en tant qu'instruments de légitimation
des mariages homosexuels dans
le discours des médias libéraux russes**

Mon analyse est centrée sur les stratégies discursives et les moyens langagiers mises en place par les médias «d'opposition» russes afin de

réconcilier la société avec l'idée d'autoriser le mariage des couples de personnes de même sexe.

A la base du corpus de textes recueillis dans des médias tels que «L'Echo de Moscou», «Snob», sur les sites d'information sobaka.ru, ainsi que sur les pages des bloggeurs connus j'examine les voies par lesquelles le concept de cette forme de l'union conjugale, jusqu'à présent exclue dans le contexte de la culture orthodoxe, tend à devenir plus viable dans la conscience de la communauté grâce à la contextualisation sociale savamment conçue par certains médias.

La théorie qui décrit comment la perception de l'opinion publique peut être modifiée afin que les idées auparavant considérées comme folles puissent être acceptées à long terme est connue comme «la fenêtre d'Overton». Le concept a été développé par le sociologue américain Joseph P. Overton (1960–2003) qui a observé que, pour chaque domaine de la gestion publique, seule une gamme étroite de potentiels politiques est considérée comme acceptable. Sur un sujet donné, les degrés d'acceptation des idées publiques sont les suivants: impensables ou inconcevables, radicales, acceptables, sensées, populaires, admises politiquement.

La fenêtre change de taille ou se déplace: une idée placée à un endroit donné peut devenir plus ou moins politiquement acceptable sous force des techniques discursives déployées dans des médias soutenus, à leur tour, par les élites politiques.

La recherche relève la corrélation entre les deux tendances dynamiques à propos des mariages homosexuels: d'un côté, les changements du répertoire des stratégies mises en œuvre dans les discours journalistiques de 2010 jusqu'à 2017 et, de l'autre côté, le glissement de la fenêtre d'Overton sur cette problématique.

Ce glissement se manifeste surtout par l'alternance dans le contexte médiatique de deux stratégies discursives: stratégies mythopoétique et rationnelle. La première marque le rapprochement de la fenêtre d'Overton avec l'idée d'acceptabilité de l'objet de légitimation. La seconde, au contraire, signale le retour de la fenêtre dans la zone où l'opinion publique rejette encore le nouveau concept alors que les intéressés s'ingénient à le promouvoir en explicant sa nature et ses avantages.

L'analyse du corpus montre que la stratégie mythopoétique connaît son essor dans le discours médiatique russe entre les années 2013 et 2014. Afin de légitimer la volonté des couples du même sexe de conclure leur mariage, les journalistes font largement recours aux sujets

remontant au subconscient collectif, aux archétypes du «trickster», de l'exilé.

Mais il est à noter que ces dernières années, depuis 2015, la rationalisation succède au mythe: les acteurs du discours journalistique commencent à privilégier des mécaniques argumentatives, des clichés et un vocabulaire empruntés aux genres des textes qui, traditionnellement, jouissent de plus de crédibilité auprès les lecteurs: ouvrages scientifiques, textes juridiques etc.

Ainsi, il est à constater qu'en Russie, sur le plan sociétal, on voit la situation d'affrontement de deux positions. La première est représentée par la majorité de la société et par les forces politiques au pouvoir qui, ensemble, considèrent la légalisation des mariages homosexuels comme complètement incompatible avec les valeurs traditionnelles de la Russie dont le maintient assure les intérêts des Russes en tant que nation et la continuité de «l'esprit russe». La seconde position qui fait fi des différences sociales basées sur l'orientation sexuelle, est articulée par les acteurs principaux de la communauté LGBT russe dont les voix sont renforcées et rendues audibles par les médias opposants.

1.3. Язык постсоветских школьных учебников истории: два уровня легитимации политического в дискурсе о прошлом

Упоминание школьных учебников истории в контексте рассуждений о политической легитимации может показаться слишком очевидным. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как французские историки Сюзанн Ситрон [Citron, 1989] и Марк Ферро [Ferro, 1992] продемонстрировали на примере как Франции, так и других стран мира, что преподавание истории в школе является неотъемлемым инструментом политической легитимации. Более поздние труды, написанные, как правило, с привлечением специалистов из разных стран, показывают, как данный механизм действует в разных исторических, культурных и политических контекстах [Dubois, Legris, 2018; Létourneau и др., 2013; Nicholls, 2006; Schissler, Soysal, 2005]. Приведенные в них примеры дают представление о средствах, в том числе

языковых, через которые школьная историческая литература легитимирует политическую систему и различные институты в каждом из государств.

В данном параграфе монографии мы хотим обратить внимание на языковые средства легитимации, которые можно наблюдать в постсоветских школьных учебниках по истории XX века. Сначала обратимся к различиям в использовании этих средств в учебниках 2000–2010-х гг. по сравнению с учебниками первого постсоветского десятилетия. Затем, через использование понятия «советизмы», попытаемся выявить другой, более глубинный и устойчивый уровень легитимации, который прослеживается в постсоветских учебных текстах по новейшей истории. В заключение мы попытаемся определить причины и последствия воспроизводства элементов советского дискурса в постсоветских учебниках истории.

Российские учебники по новейшей истории 2000–2010-х гг.: идеальный пример инструментализации истории?

На первый взгляд постсоветская Россия начала нового тысячелетия представляет собой классический пример страны, в которой постепенно проводится целенаправленная «историческая политика» [Миллер, 2009] и где «загоняемое» во все более узкие рамки преподавание истории в школе используется для легитимации внутренней и внешней политики государства. Достаточно процитировать заголовки некоторых изданий, непосредственно связывающих изменения в содержании учебников с именем Владимира Путина, чтобы понять, что именно в таком ключе эти процессы воспринимаются многими массмедиа¹.

В таком подходе есть значительная доля истины². В новом тысячелетии школьные учебники истории, в частности учебники по новейшей истории, являются одним из инструментов политической легитимации, используемых политическими силами, находящимися у власти в России. Напомним, что в начале

¹ Например: [Хэлпин, 2007; Цыганкова, Нетупский, 2010; Courtois, Panné, 2005; Walker, 2007; Walsh, 2004].

² Следующие выводы основаны на исследовании, проведенном в рамках докторской диссертации (*thèse de doctorat*) и основанном на анализе более 70 постсоветских школьных учебников по отечественной и всеобщей истории XX века [Konkka, 2016].

и особенно во второй половине 1990-х гг., после демонополизации рынка учебной литературы в России, присутствие государства в данной области было минимальным. С начала же 2000-х В. В. Путин и Д. А. Медведев, а также некоторые члены правительства в своих выступлениях призывали предъявлять более строгие требования к учебникам по отечественной истории. Эти призывы нашли отражение в конкретных мерах, таких как сокращение числа учебников, прошедших экспертизу и получивших гриф Министерства образования РФ. Запуск проекта по созданию Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории стал логическим продолжением этого процесса, проходившего на общем фоне усиления государственного контроля над политикой памяти (достаточно упомянуть не так давно существовавшую Комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России). Все эти меры преследуют две основные цели. Первая заключается в снятии исторической ответственности, позволяющей строить патриотический дискурс на позитивном образе национального прошлого. Вторая выражается в создании параллелей между Россией прошлого и Россией настоящего, чтобы показать, что современная политика имеет под собой исторические корни.

Изменения, которые можно наблюдать в текстах учебников по отечественной истории, опубликованных в 2000–2010-е гг., вполне следуют этой логике. Среди примеров можно привести эволюцию образа Иосифа Сталина в некоторых новых изданиях или в переизданиях уже существовавших учебников¹. Речь идет не о реабилитации этой исторической фигуры, а о сдвиге, который позволил ассоциировать имя Сталина в первую очередь не с массовыми репрессиями, а с «модернизацией» СССР, представленной как необходимое условие будущей победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, Сталин может восприниматься как политический лидер, внедривший непопулярные, но эффективные и «объективно необходимые» меры, которые в конечном счете обеспечили обороноспособность страны и, как следствие, ее престиж на международной арене. Можно также проследить некоторую корреляцию между антизападным

¹ Эти изменения лучше всего просматриваются при сравнении различных версий и изданий одного и того же учебника. См., например: [Konkka, 2018a].

дискурсом, который прослеживается во многих российских медиа в течение последних 10–15 лет, и отсылках к враждебности Запада по отношению к России (СССР) во многих учебниках истории этого же периода. Западный экспансионизм в этих текстах постоянно противопоставляется политике российского (советского) государства, нацеленной на построение мира и международной безопасности. На дискурсивном уровне политическая легитимация может выражаться различными языковыми средствами:

- Синтаксис. Рассмотрим следующий пример из учебника для 9-го класса: «1 декабря 1934 г. в Ленинграде был убит¹ первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Киров. Это дало повод активизировать карательную политику. Вскоре было принято решение об ускоренном рассмотрении политических дел. Ужесточаются законы. Репрессиям начинают подвергать членов семей осужденных. Все было подготовлено к началу «большого террора» — так называют пик репрессий, пришедшийся на 1937–1938 гг. Органы НКВД получили указание добиваться признания подследственных любыми путями, включая применение пыток» [Лубченков, Михайлов, 2013, с. 93]. В приведенном примере преобладают неопределенno-личные предложения или определенно-личные предложения, в которых подлежащее не соответствует настоящему источнику действия.

- Пунктуация. В качестве примера можно привести словосочетание «западные «демократии», где слово *демократии* заключено в кавычки. Такую пунктуацию можно встретить в учебнике под общей редакцией А. А. Данилова и А. В. Филиппова, в контексте рассказа о международной политике СССР в преддверии Второй мировой войны [Данилов, Филиппов, 2012, с. 314–319].

- Лексика. Среди понятий, выполняющих легитимирующие функции, можно упомянуть термин «модернизация», который в контексте отечественной истории XX века оправдывает необходимость индустриализации и насилиственной коллективизации, а также слово *агрессия* в контексте различных военных операций, проводимых западными государствами. Разумеется, подобные функции могут выполнять не только существительные. Глаголы (*установит власть* или *оккупировать*) или прилагательные

¹ Курсив наш.

(например, *миролюбивый* или *захватнический*) также могут нести легитимирующую смысловую нагрузку.

Российские учебники по новейшей истории 1990-х гг.: авторские попытки легитимации реформ

Следует ли из этого заключить, что учебники истории первого постсоветского десятилетия были лишены какой-либо легитимации на дискурсивном уровне?

Как было отмечено, окончание советской эпохи привело к зарождению рынка учебной литературы и появлению частных издательств, специализирующихся на школьных учебниках. Новый Закон «Об образовании», принятый в 1992 г., предоставил образовательным учреждениям и педагогам свободу выбора учебных изданий. По словам преподавателя истории и автора учебников Леонида Кацвы, в 1990-е гг. школа почувствовала «некоторую свободу», в частности в отношении того, что говорилось в классе и писалось на страницах учебников [Российская школа, церковь, медиа и проблемы «проработки прошлого», 2011]. Содержание книг по отечественной истории XX в., опубликованных в первое постсоветское десятилетие, свидетельствует о желании освободиться от идеологии, которой была насквозь пропитана школьная история в советское время. Авторы стремились развенчать мифы, добавить ранее неизвестные факты, по-новому расставить акценты. Язык новых учебных текстов по истории также претерпел изменения, становясь более ярким, «авторским», с допущением оценочных высказываний. Однако следует признать, что, несмотря на относительный плюрализм и гораздо более критический взгляд на отечественное прошлое, они не были лишены некоторых элементов легитимации. В частности, в этих текстах мы можем встретить механизмы, заключающиеся в использовании определенной лексики, подобные тем, которые присутствуют в учебниках 2000–2010-х гг., однако в данном случае они направлены скорее на делигитимацию Октябрьской революции и советского режима, а также на легитимацию политических и экономических реформ, последовавших за распадом СССР.

На лексическом уровне можно, в частности, отметить появление прилагательных *реформаторский*, *предприимчивый* и *инициативный* в контексте рассказа о дореволюционной России,

тогда как применительно к революции употребляются существительные *трагедия, катастрофа и драма*¹. Примечательно также использование терминов « тоталитаризм » и « административно-командная система » в отношении советского политического и экономического устройства, которое характерно для большинства учебников. В текстах часто встречаются прилагательные *деспотический, репрессивный, диктаторский, бесчеловечный, страшный* («Деспотический режим», «сталинская репрессивная машина / «репрессивные методы», «бесчеловечные акции», «страшные жертвы»). Из лексико-морфологических примеров можно процитировать несущий яркую оценочную окраску термин «сталинщина» (вместо «сталинизма»)².

Языковые особенности советского авторитетного дискурса

Учебники новейшей истории 1990-х гг. скрывают в себе определенный парадокс, и именно поэтому их анализ представляет особый интерес. Так, несмотря на то что во всех из них просматривается желание авторов критически оценить советское прошлое, схожесть учебников первого постсоветского десятилетия с их советскими предшественниками отмечается многими исследователями³. Даже в этот период тексты, характеризующиеся намерением изложить историю России в XX в. в полном отрыве от советской традиции, как дидактической, так и историографической, были скорее редкостью. Лишь несколько учебников этой эпохи могут считаться хотя бы отчасти инновационными⁴. Все остальные издания воспроизводили советскую модель учебной литературы. Преемственность между советской и постсоветской учебной литературой по истории проявляется, в частности,

¹ Подробнее об этом см. [Konkka, 2017].

² Например: [Дмитренко, Есаков, Шестаков, 1995: 360; Островский и др., 1992: 7, 117]

³ См., например: [Берелович, 2002; Бухараев, 2002; Вашик, 2002; Дедков, 2003; Каплан, 2011; Шнейдер, 2002; Erokhina, Shevyrev, 2006; Maier, 2005; Tchernychev, 2005].

⁴ Среди такиховых можно отметить экспериментальные учебники: История современной России. 1985–1994 / под общ. ред. В. В. Журавлева. — М.: Изд-во «Терра», 1997; История России. Советское общество / под общ. ред. В. В. Журавлева. — М.: Изд-во «Терра», 1995; Отечественная история / под общ. ред. И. И. Долузского. — М.: Изд-во «Мнемозина», 1994–2003 И. И. Долузского, издававшийся с 1994 по 2003; Кацва Л. А. История России. Советский период. — М.: Изд-во «Мирос Антика», 2002.

на лексическом уровне¹, через использование структур, которые мы можем обозначить как «советизмы»².

Чтобы лучше понять, в чем заключается упомянутая преемственность на дискурсивном уровне и что такое «советизмы» в нашем понимании, мы предлагаем обратиться к работе антрополога Алексея Юрчака, изначально изданной в США [Yurchak, 2005] и позднее вышедшей в России под названием «Это было навсегда, пока не кончилось» [Юрчак, 2014]. В первых главах книги проводится анализ авторитетного дискурса послесталинской эпохи. Ранее Сталин занимал внешнюю по отношению к идеологическому дискурсу позицию, что позволяло ему судить о соответствии того или иного предложения, текста или произведения «объективной истине». После смерти вождя никто более не мог претендовать на выполнение аналогичной функции «господствующей фигуры, стоящей вне идеологического дискурса» и лично оценивать различные элементы дискурса на предмет их соответствия «внешнему канону идеологической истины» [Юрчак, 2014: 52]. Отныне этот условный, никем четко не установленный канон мог соблюдаться исключительно благодаря бесконечному воспроизведению ранее написанных текстов.

В этих условиях неизвестной абстрактной нормы каждый новый текст, написанный идеологическим языком, мог быть потенциально интерпретирован как отклонение от нормы. Единственным способом остаться в рамках такой «нормы» теперь было как можно точнее копировать тексты и высказывания, которые уже были написаны или произнесены ранее другими руководителями. Надо было научиться подгонять свой стиль под стиль тех, кто говорил и писал до тебя. С конца 1950-х годов благодаря всеобщей имитации текстов, последовавшей за этими изменениями, в советском идеологическом дискурсе начала стихийно формироваться новая норма языка — теперь различные тексты, написанные на этом языке, все больше походили на цитаты из неких предыдущих текстов, а значит, все больше походили друг на друга [Юрчак, 2014: 109].

¹ Эта преемственность наблюдается и на других уровнях, таких, как формат и верстка издания, его структура, тип подачи информации (преимущественно текстовый), дидактические материалы (вопросы и задания, работа с документами, таблицами и иллюстрациями). Подробнее об этом [Konkka, 2018b].

² Наше понимание советизмов является лишь одним из многих возможных пониманий этого термина. О других его интерпретациях см., например: [Павлова, 2011; Kossov, 2015].

Эти изменения повлекли за собой превращение языка авторитетного дискурса (языка прессы, отчетов, собраний...) в хорошо известный громоздкий и крайне стандартизованный советский канцелярит. Отсутствие оригинальности и любых проявлений личности автора каждого из этих текстов служило своего рода гарантией соблюдения неписанной и никем не определенной нормы.

Автор анализирует лингвистические аспекты этого гипернормализованного языка, в частности синтаксис и лексику. Среди упомянутых явлений нас особенно интересуют устойчивые сочетания существительных и прилагательных. А. Юрчак ссылается на работу британского антрополога К. Хамфри, опубликованную в 1989 г. Анализируя небольшую сибирскую газету позднесоветского периода, Хамфри показала, что «...в языке ее политических статей почти всегда использовались одни и те же устойчивые связи существительных и прилагательных, их определяющих. Например, «успех» и «труд» в этих статьях обычно были «творческими», помочь была «братской», «участие» было «активным» и так далее» [Юрчак, 2014: 143]. Эти замечания представляют особый интерес для изучения постсоветских учебников истории.

«Советизмы» в постсоветских школьных учебниках истории как более глубокий и устойчивый уровень легитимации

Тексты советских школьных учебников истории можно с уверенностью отнести к дискурсу, который А. Юрчак называет авторитетным. Именно поэтому, несмотря на политические изменения, происходившие в СССР, эти тексты мало менялись на протяжении десятилетий. Учебники истории конца 1980-х гг. по своей структуре, используемой терминологии и содержанию крайне похожи на учебники 1970-х, 1960-х и 1950-х гг.¹. Продемонстрированный А. Юрчаком механизм заимствования отрывков из ранее опубликованных текстов ярко просматривается при изложении одних и тех же событий в учебниках, опубликованных в разные годы различными авторами. Новые авторские коллективы повторяли целые предложения из более ранних

¹ Эти заключения сделаны, в частности, в рамках исследования об образе революции 1917 г. в советских и постсоветских учебниках истории [Konkka, 2017].

учебников. Кроме того, как и советская пресса, они бесконечно воспроизводили устойчивые сочетания, подобные тем, которые описала К. Хамфри. Например, в главах о Великой Октябрьской социалистической революции постоянно встречаются хорошо известные словосочетания: *буржуазные империалисты*, *мелкобуржуазные националисты* и т. п. Такие устойчивые сочетания, на наш взгляд, являются ярким примером «советизмов».

В постсоветских школьных учебниках истории воспроизведение целых фраз и отрывков фраз из советских текстов — скорее редкость и встречается лишь в повествовании о событиях, взгляд на которые мало изменился после распада СССР (например, Русско-японская война или Великая Отечественная война). Однако интересно отметить, что, несмотря на намерение по-новому осмыслить недавнее «сложное и противоречивое прошлое» [Островский и др., 1992: 64], упомянутые «советизмы» не исчезли полностью со страниц постсоветских учебников, в том числе и тех, которые были опубликованы в 1990-е гг. Вот несколько примеров такого рода «советизмов»:

- «сельские труженики/труженики сельского хозяйства [например, Данилов, Косулина, 1995; Островский, Утки, 1995: 403];
- «милитаристские круги» [например, Жарова, Мишина, 1992: 290];
- «широкомасштабная интервенция» [например, Данилов, Косулина, 1995; Данилов, Косулина, Пыжиков, 2003];
- «достижения научно-технической мысли» [например, Дмитренко, Есаков, Шестаков, 1995: 458];
- «триумф советской науки и техники» [например, Дмитренко, Есаков, Шестаков, 1995: 460; Шестаков, Сахаров, 2012: 283].

Особо частое употребление этих словосочетаний в позднесоветский период (1960–1980-е гг.) отчетливо видно на графиках (рис. 1), построенных с помощью сервиса Google Ngram Viewer, который через анализ корпусов печатных источников позволяет отследить частоту использования языковых единиц в тот или иной период.

Подобные словосочетания появляются, как правило, в контексте высказывания положительной оценки или оправдания каких-либо действий или участников исторических событий (в том числе и такого абстрактного исторического субъекта, как «народ»).

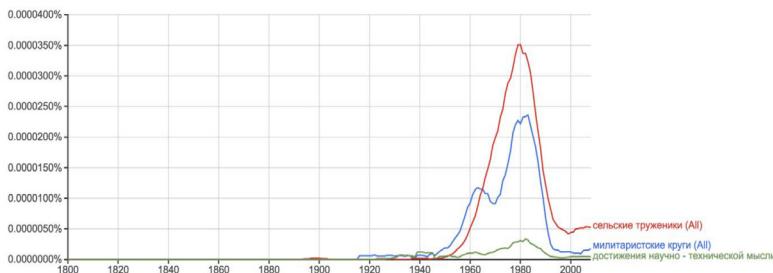


Рис. 1. График Google Ngram Viewer для словосочетаний
«сельские труженики», «милитаристские круги»
и «достижения научно-технической мысли»

Поэтому неудивительно, что «советизмы» чаще всего встречаются в главах, посвященных центральному событию в современном российском повествовании о прошлом — Великой Отечественной войне. В данном случае учебники истории воспроизводят словосочетания и даже целые фразы из написанных в советский период текстов. Ниже приведено несколько примеров подобных устойчивых сочетаний, которые мы встречаем как в советских, так и в постсоветских учебниках разных периодов:

«труженики тыла» [например, Волобуев и др., 2010: 184; Горинов, Данилов, Моруков, 2016: 33; Данилов, Косулина, Брандт, 2008: 220; Есаков, Кукушкин, Ненароков, 1986: 76; Пашков, 2002: 253; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2010: 182];

«пособники фашистов/оккупантов/врага» [например, Данилов, Косулина, 1995; Левандовский, Щетинов, 1997; Панкратова и др., 1952: 387; Сухов, Морозов, Абдулаев, 2012: 228];

«трудовой подвиг народа» [например, Есаков, Кукушкин, Ненароков, 1986: 76; Измозик, Рудник, 2013: 214; Левандовский, Щетинов, 1997; Панкратова и др., 1952: 407; Перевезенцев, Перевезенцева, 2012: 216];

«(ценой) героических усилий советского народа/армии» [например, Горинов, Данилов, Моруков, 2016: 56; Данилов, Косулина, Брандт, 2008: 238; Есаков, Кукушкин, Ненароков, 1986: 67; Шестаков, Горинов, Вяземский, 2010: 229];

«ковать великую Победу» [например, Загладин и др., 2008: 258; Измозик, Журавлёва, Рудник, 2013: 176];

«изгнать гитлеровцев/фашистов/захватчиков с советской земли» [например, Волобуев и др., 2001: 215; Данилов, Косулина, 1995; Дмитренко, Есаков, Шестаков, 1995: 352; Есаков, Кукушкин, Ненароков, 1986: 91–92; Панкратова и др., 1952: 400];

«покрыть себя неувядаемой славой» [например, Горинов, Данилов, Моруков, 2016: 17; Данилов, Косулина, 1995; Данилов, Филиппов, 2012: 350; Есаков, Кукушкин, Ненароков, 1986: 124; Панкратова и др., 1952: 209].

Эти примеры свидетельствуют о том, насколько «советским» остается повествование о Великой Отечественной войне в школьных учебниках истории¹. Кроме того, оно может воспроизводиться во многих других дискурсах, с которыми сталкиваются российские школьники (учебно-методические материалы, школьные музеи и собственно рассказ учителя). В этом контексте не вызывает удивления замечание Филиппа Чапковского, сделанное в 2011 г., согласно которому «в школьных стенгазетах школьники младших классов говорят жестяным голосом советской пропаганды». В качестве примера приводится отрывок из статьи, в которой восьмиклассница из Волгограда именно таким языком описывает встречу с ветеранами ВОВ [Чапковский, 2011: 130]. В заключение обратимся к причинам этой преемственности на дискурсивном уровне.

Причины и последствия воспроизведения элементов советского дискурса в постсоветских учебниках истории

С чем связано использование «советизмов» и воспроизведение словосочетаний, характерных для советского публичного дискурса, в постсоветских учебниках истории? Анализ А. Юрчака показывает, что в контексте послесталинского СССР копирование отрывков из ранее написанных текстов было связано с необходимостью обеспечить соответствие создаваемых текстов «внешнему канону идеологической истины» при отсутствии внешнего референта, выполняющего роль гаранта соблюдения этого канона. Однако постсоветские учебники истории не могут претендовать на передачу какой бы то ни было «идеологической истины», поскольку наличие последней полностью

¹ О «советском» характере современного российского нарратива о войне, во многом сложившегося в брежневскую эпоху, см., например: [Ferretti 2013].

исключается Конституцией РФ и, соответственно, не предусмотрено ни Законом об образовании, ни учебными программами, ни руководствами по написанию школьных учебников. Более того, в 1990-е гг., как мы уже отмечали, участие государства в контроле за содержанием учебной литературы по истории было минимальным. Тем не менее заимствования из советского нарратива в этот период также присутствовали. Более того, их наличие в учебниках этой эпохи было парадоксальным, поскольку во многих текстах прослеживается желание подчеркнуть важность идей и ценностей, отличных от советских (демократия, парламентаризм, предпримчивость, благотворительность и меценатство...).

Эта преемственность на дискурсивном уровне обусловлена прежде всего вполне очевидными демографическими и социологическими причинами. Средний возраст авторов, опубликовавших (индивидуально или в соавторстве) хотя бы один учебник по истории XX века составлял 57 лет в 1999 г. и 62 года в 2009 г.¹. Большинство авторов постсоветских учебников получили среднее и высшее образование, а также во многих случаях начинали свою карьеру в СССР. Это не могло не сказаться характере на написанных ими текстов.

Однако интересен тот факт, что «советизмы» чаще всего появляются в контексте позитивной оценки событий и явлений прошлого, взгляд на которые в учебниках истории менее всего изменился после распада СССР. Это позволяет заключить, что описанные устойчивые сочетания, многократно использованные в авторитетном дискурсе советского периода, несколько изменили свое назначение. Перестав быть гарантами соблюдения абстрактного идеологического канона, они стали орудием легитимации. Они показывают, что, несмотря на необходимость провести переоценку прошлого, связанную со сменой политической и экономической модели, даже тексты, опубликованные в 1990-е гг., свидетельствовали о желании большинства авторов сохранить некоторые элементы, присутствовавшие в советских учебниках истории и способные вызвать у учеников чувство гордости за свою страну.

Эта тенденция, которая только усилилась в 2000–2010-е гг., связана с сохранившимся с советских времен представлением

¹ Исследование проведено на основании данных, находящихся в открытом доступе (биографии, интервью...).

о воспитательной функции школьного исторического образования. В исследовании, основанном на многочисленных интервью, социолог А. Санина упоминает твердую, унаследованную с советских времен веру учителей в их миссию по воспитанию нового поколения граждан. Именно эта вера помогла многим из них продолжать работу в тяжелых экономических условиях в 1990-е гг. [Sanina, 2017]. Вера в особую воспитательную миссию преподавания истории в школе не чужда и авторам учебников: она прослеживается в предисловиях к некоторым изданиям и в интервью авторов. Неслучайно исследователи отмечают морализаторский характер постсоветских учебников [Бухараев, 2002]. Позитивный образ отечественного прошлого — один из инструментов осуществления этой миссии. В тексте, опубликованном в 2002 г., В. Журавлев, автор многих постсоветских учебников истории, призывал «укреплять фундаментальные основы исторического оптимизма и [...] чувство национального достоинства» [Журавлев, 2002: 187]¹. Именно в этом свете следует, на наш взгляд, рассматривать процессы, характерные для России 2000–2010-х гг., которые выразились в постепенном превращении учебников истории в инструменты политической легитимации государственной политики. Если учесть наличие этого глубинного уровня легитимации в тестах большинства постсоветских учебников, независимо от года издания, то неудивительно, что упомянутые меры по инструментализации школьной истории не встретили сильного сопротивления. Ведь в определенном смысле они не шли в разрез с тенденциями 1990-х гг., как может показаться на первый взгляд. Воспитательная функция преподавания истории в школе, усвоенная в советскую эпоху, диктовала желание создать хотя бы отчасти позитивный образ отечественного прошлого и не «переписывать историю» там, где в этом не было необходимости. Проявляясь, в частности, в использовании «советизмов», она пережила 1990-е гг. и, встретив определенную поддержку со стороны государства в 2000-е гг., окончательно закрепилась в текстах современных учебников по отечественной истории.

Таким образом, легитимация политического в преподавании новейшей истории в школе наблюдается одновременно

¹ Отметим также присутствие прилагательного воспитательный в заглавии статьи.

на двух уровнях. Первый уровень, эксплицитный, позволяет отметить корреляцию между текстами учебников и текущей государственной политикой. На этом уровне можно наблюдать характерные различия между учебниками первого постсоветского десятилетия и более поздними учебниками. Второй, гораздо более глубинный и имплицитный уровень, напротив, позволяет наблюдать преемственность между постсоветскими учебниками, независимо от периода издания, и их советскими предшественниками. Обусловленный причинами скорее социологического характера, этот уровень легитимации выражается, в частности, в воспроизведстве элементов советского авторитетного дискурса в постсоветских учебниках истории. Он связан с воспитательной функцией, которой школьное историческое образование наделяется как в советском, так и российском контексте. За повторением «советизмов», устойчивых формулировок, многократно использованных в эпоху СССР, скрывается желание воспроизводить устойчивый позитивный образ отечественного прошлого.

Список литературы

Берелович В. Современные российские учебники истории: многоликая истина или очередная национальная идея? // Непрекосновенный запас. 2002. Т. 24. № 4. С. 80–88.

Бухараев В. Что такое наш учебник истории. Идеология и наездание в языке и образе учебных текстов. // Историки читают учебники истории / под ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2002. С. 13–46.

Вашик К. Новая история в старом одеянии? Методология, методика и дидактика в новых учебниках истории // Историки читают учебники истории / под ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2002. С. 69–92.

Дедков Н. Проблема учебника истории // Исторические исследования в России. Семь лет спустя / под ред. Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2003. С. 50–75.

Журавлёв В. В. Экспериментальные учебники как мировоззренческая и воспитательная альтернатива официальным стандартам // Историки читают учебники истории / под ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов. М.: АИРО-XX, 2002. С. 185–195.

Каплан В. Новая иерархия понятий в российских учебниках истории [Электронный ресурс]. URL: <http://www.urokiistorii.ru/learning/manual/1590> (дата обращения: 03.09.2013).

Миллер А. Россия: власть и история // Pro et Contra. 2009. Т. 13, № 3–4. С. 6–23.

Павлова С.В. Оценочные советизмы в современном публицистическом тексте: дис....канд. филол. наук: 10.01.10. РГГУ, Москва, 2011. 161 с.

Российская школа, церковь, медиа и проблемы «проработки прошлого» [видеозапись конференции] // Левада-центр. URL: 22.12.2011 (<http://www.levada.ru/proekt-demokratiya-v-rossii/22-12-2011/rossiiskaya-shkola-tserkov-media-i-problemy-prorabotki-proshl>) (дата обращения: 20.06.2012).

Хэллин Т. Учебники подгоняются под путинское видение истории [Электронный ресурс]. URL: <http://inosmi.ru/world/20070730/235796.html> (дата обращения: 02.06.2012).

Цыганкова М., Нетупский П. Учиться по заветам Путина [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fontanka.ru/2010/01/26/142/> (дата обращения: 02.06.2012).

Чапковский Ф. Учебник истории и идеологический дефицит // Pro et Contra. 2011. Т. 15, № 1–2. С. 117–133.

Шнейдер М. Современный учебник истории в роли инструмента формирования исторического сознания школьников // Историки читают учебники истории / под ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгова. М.: АИРО-XX, 2002. С. 206–219.

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 790 с.

Citron S. Le mythe national: l'histoire de France en question. Paris: Éditions Ouvrières, 1989. 318 p.

Courtois S., Panné J.-L. Les leçons d'histoire du «professeur» Poutine [En ligne]. URL: <http://www.lefigaro.fr/debats/20050530.FIG0141.html?074925> (consulté le 2 juin 2012).

Dubois J., Legris P. Disciplines scolaires et cultures politiques: des modèles nationaux en mutation depuis 1945. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018. 232 p.

Erokhina M., Shevyrev A. Old Heritage and New Trends: school history textbooks in Russia // School history textbooks across cultures: international debates and perspectives. Oxford: Symposium Books, 2006. С. 83–92.

Ferretti M. La Russie et la guerre: la mémoire brisée // Histoire et mémoire dans l'espace postsoviétique: le passé qui encombre / под ред. W. Berelowitch, K. Amacher. Genève-Louvain-la Neuve: L'Harmattan-Academia, 2013. C. 101–127.

Ferro M. Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde entier. Paris: Payot, 1992. 319 p.

Konkka O. À la recherche d'une nouvelle vision de l'histoire russe du XXème siècle à travers les manuels scolaires de la Russie postsoviétique (1991–2016). Thèse de doctorat. Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 2016. 724 p.

Konkka O. Les révolutions de 1917 vues dans les manuels d'histoire, de l'époque soviétique à aujourd'hui // La Revue Russe. 2017. T. 49. C. 139–150.

Konkka O. Le dictateur ou le chef de la nation victorieuse? L'évolution de la présentation de Joseph Staline dans les manuels scolaires d'histoire de la Russie postsoviétique // Disciplines scolaires et cultures politiques: des modèles nationaux en mutation depuis 1945 / под ред. J. Dubois, P. Legris. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018a. C. 105–120.

Konkka O. Le manuel d'histoire dans la Russie de Vladimir Poutine: la reprise du modèle soviétique? // Education et culture matérielle en France et en Europe du XVI^e siècle à nos jours / под ред. M. Figeac-Monthus. Paris: Honoré Champion, 2018b. C. 383–396.

Kossov V. Le rôle des soviétismes dans les stratégies du discours politique russe contemporain [En ligne] // Revue de l'Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie ILCEA. 2015. T. 21. URL: <http://journals.openedition.org/ilcea/3045> (consulté le 20 décembre 2019).

Létourneau J., Heimberg Ch., Loubes O., Falaize B. L'école et la nation. Lyon: ENS Éditions, 2013. 516 p.

Maier R. Learning about Europe and the World: Schools, Teachers, and Textbooks in Russia after 1991 // The Nation, Europe, and the World: Textbooks and Curricula in Transition. New York and Oxford: Berghahn Books, 2005. C. 138–162.

Sanina A. Patriotic Education in Contemporary Russia: Sociological Studies in the Making of the Post-Soviet Citizen. E-book. Stuttgart: ibidem Press, 2017. 202 p.

Tchernychev A. L'enseignement de l'histoire en Russie: de la Révolution à nos jours. Paris: l'Harmattan, 2005. 250 p.

Walker S. Vladimir Putin rewrites Russia's history books to promote patriotism // The Independent. 2007.

Walsh N.P. Putin angry at history book slur. Available at: <http://www.theguardian.com/world/2004/jan/14/books.russia> (accessed 25 May 2014).

Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More — The Last Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. 352 p.

Schissler H., Soysal Y.N. The Nation, Europe, and the World: Textbooks and Curricula in Transition. New York and Oxford: Berghahn Books, 2005. 268 p.

Nicholls J. School history textbooks across cultures: international debates and perspectives. Oxford: Symposium books, 2006. 124 p.

Список источников примеров

Волобуев О.В. [и др.] История России. XX век: учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2001.

Волобуев О.В. и др. История России. XX век — начало XXI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010.

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016.

Данилов А. А., Филиппов А. В. История России, 1900–1945: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век: Учебная книга для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 1995.

Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России, XX — начало XXI века: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2008.

Данилов А. А., Косулина Л. Г., Пыжиков А. В. История России, XX — начало XXI века: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003.

Дмитренко В. П., Есаков В. Д., Шестаков В. А. История отечества. XX век. 11 класс: учеб. пособие для общеобразовательных школ. М.: Дрофа, 1995.

Есаков В.Д., Кукушкин Ю.С., Ненароков А.П. История СССР. Учебник для 10 класса. М.: Просвещение, 1986.

Жарова Л.Н., Мишина И.А. История отечества, 1900–1940: Учебная книга для старших классов средних учебных заведений. М.: Просвещение, 1992.

Загладин Н.В. и др. История России. XX — начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2008.

Измозик В.С., Журавлёва О.Н., Рудник С.Н. История России: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013.

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013.

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в XX веке: учебник для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 1997.

Лубченков Ю.Н., Михайлов В.В. История России. XX — начало XXI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2013.

Островский В.П. и др. История отечества, 1939–1991: учебник для 11 класса средней школы. М.: Просвещение, 1992.

Островский В.П., Уткин А.И. История России. XX век. 11 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 1995.

Панкратова А.М. и др. История СССР. Учебник для 10 класса средней школы. М.: Учпедгиз, 1952.

Пашков Б.Г. История России. XX век: учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2002.

Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В. История России. XX — начало XXI века: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2012.

Сухов В.В., Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н. История России: XX — начало XXI века. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2012.

Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. История России: XX — начало XXI века, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

Шестаков В.А., Сахаров А.Н. История России, XX — начало XXI века. 11 класс: учебник для общеобразовательных

учреждений: профильный уровень. М.: Просвещение, 2012.

Les références au soviétique dans le discours de la légitimation nationale en Russie contemporaine: le cas des manuels d'histoire et des musées scolaires

Le fait d'aborder la problématique des manuels scolaires d'histoire dans le contexte d'une discussion sur la légitimation du politique pourrait s'apparenter à l'idée de vouloir prouver l'évident. En effet, il a été démontré depuis longtemps par les auteurs comme Marc Ferro [Ferro, 1992] ou Suzanne Citron [Citron, 1989], pour ne citer qu'eux, que l'histoire scolaire est un outil de légitimation par excellence. Quelques ouvrages plus récents regroupant les contributions des spécialistes des différents terrains illustrent le fonctionnement de ce mécanisme dans les différents contextes politiques et culturels [Dubois, Legris, 2018; Létourneau et al., 2013; Nicholls, 2006; Schissler, Soysal, 2005]. Tous démontrent que les livres d'histoire cherchent à légitimer le système politique et les différentes institutions des pays en question. La Russie postsovietique, plus précisément celle des années 2000 et 2010, semble représenter le «cas d'école» d'un pays où une vraie politique mémorielle se met en place et où l'histoire scolaire sert à légitimer les choix politiques de ses dirigeants. Il suffit de citer quelques titres d'articles de presse, russes ou occidentaux, pour nous convaincre que l'enseignement de l'histoire en Russie est perçu de cette façon par les médias.

Peut-on dire pour autant que les manuels d'histoire russes sont des instruments facilement maniables au gré des changements de la politique historique de l'État russe? L'objectif de la présente étude consiste à démontrer que les mécanismes de légitimation dans les manuels scolaires d'histoire postsovietiques sont en réalité beaucoup plus complexes. Ils opèrent à plusieurs niveaux et ne peuvent être abordés sans prendre en compte les héritages institutionnels et les parcours personnels des auteurs.

La principale méthode utilisée pour l'étude consiste en l'analyse textuelle d'un large corpus de plus de 70 manuels scolaires d'histoire soviétiques et postsovétiques. Destinés aux élèves des dernières classes des établissements secondaires, ils racontent l'histoire nationale ou mondiale au XXème siècle. Nous cherchons à dégager des outils

linguistiques et notamment des éléments du champ lexical qui relèvent d'un discours de légitimation.

Dans un premier temps, nous constatons que les manuels des années 1990 ont leur champ lexical spécifique, qui diffère de celui des textes des années 2000 et 2010. Nous démontrons que le lexique, ainsi que la syntaxe et la ponctuation peuvent remplir une fonction légitimatrice en lien avec les orientations générales de la politique historique du moment. Nous remarquons également que les signes de l'instrumentalisation de l'histoire scolaire à des fins politiques sont beaucoup plus fréquents dans les manuels plus récents, ce qui s'explique par les changements dans la perception du rôle de l'histoire scolaire par les autorités politiques.

Cependant, le champ lexical des manuels d'histoire postsoviétiques recèle des éléments pourvus d'une fonction légitimatrice, mais qui sont sans rapport direct avec les évolutions des politiques historiques. Afin de mieux les analyser, il est pertinent de se référer à l'ouvrage de l'anthropologue Alexeï Yurchak [Yurchak, 2005]. L'analyse du discours autoritaire de l'URSS poststalinienne proposée par l'auteur nous permet d'introduire la notion des soviétismes, par lesquels nous entendons des associations de mots figées qui se sont constituées à l'époque soviétique. Or, les soviétismes sont présents dans la plupart des manuels d'histoire postsoviétiques, indépendamment de leur année de publication. Cela permet de dégager un second niveau de légitimation, indépendant des politiques historiques en cours. Les soviétismes sont récurrents dans des passages qui tendent à justifier ou mettre en valeur un événement, une personne ou une décision politique, ce qui explique leur ubiquité dans le récit de la Grande guerre Patriotique.

Le concept bourdieusien d'*habitus* mobilisé par la sociologue Anna Sanina [Sanina, 2017] dans son analyse des pratiques de l'éducation patriotique en Russie peut aider à expliquer ce phénomène. Les facteurs démographiques et sociaux se mêlent à l'héritage institutionnel qui incite les auteurs des manuels à penser que la mission de l'histoire scolaire est avant tout éducative. La mise en valeur du passé national est perçue comme un moyen d'accomplir cette mission, indépendamment des politiques historiques en cours.

1.4. Le discours de légitimation du pouvoir politique russe: enjeux et controverses conceptuels et idéologiques

En 2018, le pouvoir russe contemporain incarné par la figure de Vladimir Poutine a atteint l'âge de la majorité. Dans les démocraties contemporaines, il s'agit d'une longévité politique remarquable pour un dirigeant de pays. En dehors des questions relatives à l'organisation particulière du régime politique en Russie, le caractère quasi-inamovible du poutinisme incite à s'interroger sur les secrets de la popularité de ce pouvoir, c'est-à-dire sur les moyens de la communication déployés pour rester attractif et légitime aux yeux de la majorité de la population.

Dans un premier temps, nous pouvons nous interroger sur la façon dont le pouvoir construit dans son discours les représentations de soi et de sa «raison d'être». Cela pose en filigrane la question de la légitimité du pouvoir, ainsi que celle des stratégies discursives de son argumentation. Les stratégies discursives étant conçues pour viser un type particulier de destinataire, il semble judicieux de se poser la question de ce destinataire final, non seulement en tant que cible des stratégies de légitimation, mais en tant qu'évaluateur de la légitimité du pouvoir et de ses actes.

Dans un premier temps, les réponses à ces questions, telles qu'elles sont formulées dans le discours officiel russe, se focalisent sur l'enjeu général du pouvoir, qui voit la source de sa légitimité dans sa fonction, présentée comme essentielle, consistant à défendre les intérêts nationaux. Le pouvoir politique s'estime ainsi légitime, car il défend les intérêts de l'État et de la population qui l'a investi de compétences appropriées. D'une manière générale, il s'agit d'une des missions dont peut se revendiquer toute autorité politique à la tête d'un État.

Suivant en cela une certaine forme de *Real-politik*, les dirigeants russes ont toujours cherché à afficher à travers leur discours une image de pragmatisme en politique extérieure et intérieure. Cette image, débarrassée des excès idéologiques, est destinée au public russe, mais aussi aux Occidentaux, ces «partenaires étrangers», selon l'expression désignant tout acteur international quelles que soient ses relations avec la Russie.

C'est ainsi que l'action des autorités russes dans la sphère géopolitique se donne pour légitimation la défense des intérêts nationaux sans aucun parti pris idéologique. C'est un argument fréquent dans les discours sur le conflit en Syrie et sur l'élargissement de l'Otan vers les

frontières russes, ou encore sur la guerre avec la Géorgie en Ossétie du Sud et le «rattachement» de la Crimée. Les mêmes intérêts d'État sont évoqués, avec toujours l'accent mis sur le pragmatisme, dans le discours portant sur les questions géoéconomiques, qu'il s'agisse du conflit gazier avec l'Ukraine ou des enjeux économiques dans la région arctique.

Outre l'argument de la défense des intérêts d'État au nom d'un grand ensemble national, la légitimité de la position russe face aux «partenaires étrangers» est recherchée dans le domaine du droit international. L'action est légitimée ainsi par l'affirmation de sa conformité aux conventions internationales et aux grands principes juridiques. Pourtant le droit international public n'est pas totalement à l'abri de certaines controverses normatives et il n'échappe pas aux influences et pressions politiques. Cela conduit parfois à faire prévaloir les intérêts politiques sur les règles de droit qui peuvent être différemment interprétées. C'est ainsi que le pouvoir russe manie le concept de souveraineté en lui donnant le sens et l'orientation voulu en fonction des cas et des enjeux qu'il considère comme essentiels pour les intérêts de l'État. De la même manière, le référendum est présenté comme un instrument légitime d'expression de la volonté populaire, car il est réglementé par la loi, contrairement aux contestations de rue non-autorisées débordant délibérément le cadre légal.

Cependant, le pragmatisme et le légalisme, tout en constituant un fondement solide de légitimation, ne sont pas toujours suffisants pour justifier un pouvoir qui fonctionne dans un espace de la concurrence politique limité. Comment légitimer la pérennité d'un pouvoir qui n'a pas changé depuis 18 ans? À l'alternance politique se substitue une vision du monde, une *Weltanschauung*, qui occupe une place importante dans le discours, et qui évolue d'année en année en fonction des changements géopolitiques.

L'analyse qualitative du discours du pouvoir¹ nous a permis de distinguer les moyens discursifs récurrents qui sont mis en œuvre par les communicants cherchant à légitimer l'action russe à l'international. Il s'agit, d'une part des stratégies de représentation de soi comme d'un acteur légitime. De l'autre, le discours s'articule avec des stratégies argumentatives construites selon des schémas bien rôdés. Ces stratégies,

¹ Le corpus analysé se compose des interviews et conférences de presse des dirigeants dont le discours a dominé l'espace de la communication politique en Russie de 2000 à 2018. Il s'agit des interventions de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev, Sergueï Lavrov, Vladislav Sourkov [Kossov, 2015].

bien que destinées dans un premier temps à convaincre les acteurs internationaux et l'opinion publique mondiale, visent accessoirement aussi le destinataire russe, que l'on tente de rallier à une vision du monde qui se veut juste, et à une action internationale russe que motive cette vision. C'est de ces stratégies discursives à visée externe qu'il sera question dans la première partie.

À l'intérieur de la Russie, outre le recours à des stratégies de discours, la légitimation du pouvoir s'opère à partir de représentations, de soi et du monde, fondées sur l'agrégation d'idées parfois hétérogènes. Il s'agit, en effet, d'une vision du monde poreuse, qui semble pouvoir donner satisfaction à des groupes sociaux aux convictions divergentes. A partir de 2012, le positionnement idéologique du pouvoir se précise, avec le cap sur la recherche identitaire et le renforcement du particularisme russe. La légitimité est ainsi recherchée à travers une conceptualisation plus rigide de la notion de souveraineté et de celle d'État-Nation pluriethnique. Ces représentations de la légitimité à visée interne seront abordées dans la seconde partie.

La légitimation par le discours à l'international

Lorsqu'il s'agit d'expliquer la position de la Russie dans des conflits internationaux, notamment, les trois où elle a été directement impliquée, en Géorgie, en Ukraine et en Syrie, le pouvoir construit son discours en soignant tout particulièrement l'enjeu de la légitimation. Partant, le discours est structuré par des stratégies de communication visant la construction d'une autorité institutionnelle où la stature du communicant est appuyée par son autorité d'expert et son pouvoir dans la prise de décision. D'autre part, l'autorité personnelle doit se superposer à la précédente en y ajoutant des traits caractéristiques des communicants, relatifs à leur pouvoir de persuasion et de séduction vis-à-vis du destinataire [Charaudeau, 1998: 7]. Les postures institutionnelle et personnelle se présentent dans le discours du pouvoir russe contemporain à travers deux stratégies dominantes: l'autoreprésentation et l'argumentation. Ces deux stratégies sont les plus à même de répondre aux objectifs de légitimer son rôle dans le conflit et de crédibiliser son image, ainsi que de délégitimer l'action de l'Autre.

Dans un premier temps, les représentations des conflits comportent un certain nombre d'éléments qui participent à la construction de Soi personnel. L'autoreprésentation peut être explicite ou implicite. Parallèlement, on construit une image de l'Autre qui apparaît comme

illégitime. Cela se produit au niveau du choix du vocabulaire où se met en place une polarisation sémantique avec des versants positif et négatif.

Ainsi, la représentation de Soi se fait par le choix d'un vocabulaire insistant sur le caractère pragmatique des communicants. Sans surprise, elle s'inscrit dans le pôle positif. Notamment, l'expression «rattachement de la Crimée» est utilisée souvent dans des occurrences visant à placer l'action politique russe dans une logique légaliste: «auto-détermination», «expression libre de la volonté», «choix», «référendum», «expression de son opinion», «défense de ses droits», «dialogue», «procédures démocratiques». Le discours du pouvoir comporte également des circonlocutions édulcorées et «politiquement correctes», formulées selon un modèle véritablement orwellien, ainsi par exemple l'expression «opération de contrainte à la paix» (*operacija po prinuždeniju k miru*)¹.

D'autre part, le lexique à connotation négative vise à caractériser l'action de l'Autre, mais également à constituer par contraste un ethos d'humanité de soi. Des expressions comme «agression sanglante», «bain de sang», «massacre des civils», «somalisation du conflit», tout comme les métaphores organiques [Kossov, 2018: 42], véhiculent l'émotion du communicant face à la situation. Cela le rend plus humain et plus proche du public. Parallèlement, le caractère délibérément pathétique des expressions accentue l'effet de dramatisation. Un recours équilibré au pathos dans l'argumentation permet d'obtenir, dans un premier temps, l'adhésion émotionnelle des interlocuteurs qui finissent par accepter, si ce n'est le point de vue du communicant, du moins sa façon de qualifier la situation présentée.

En même temps, le recours à un lexique faisant appel aux émotions est moindre dans les situations de communication où d'autres interlocuteurs se trouvent déjà sous une emprise émotionnelle assez forte. C'est le cas, par exemple, du public dont les questions sont sélectionnées pour les «Lignes directes avec le Président». Le format de cet échange est tel que le Président se voit dans l'obligation de rappeler au calme les auteurs de propos trop émotifs. Sur un certain nombre de sujets, comme l'annexion de la Crimée, l'adhésion du public à la position du communicant est déjà acquise au préalable. L'objectif de persuasion ne semble donc plus pertinent dans cette situation. Le

¹ Cette expression est utilisée depuis la conférence de presse conjointe de Dmitri Medvedev et Nicolas Sarkozy qui a eu lieu le 12 août 2008 au lendemain du conflit en Ossétie du Sud.

communicant est ainsi amené à se préoccuper davantage de son image de sobriété et de sang-froid. Il veille également à l'intégrité de la situation de communication, notamment, à ce que le débat associé au format des Lignes directes ne dépasse pas un certain cadre éthique et culturel qui le place au-dessus d'un banal *talk-show*.

12) *Поэтому давайте не будем, обойдемся, может быть, без «зеленых человечков», с одной стороны, с другой стороны — без «хомячков с гнилыми зубами», как-то повысим культуру нашего общения и нашей дискуссии, это всем только пойдет на пользу.*

Nous allons, peut-être, nous passer des expressions comme «des petits bonshommes verts» d'une part, et «des petits hamsters aux dents pourries» de l'autre, il faut essayer d'élèver le niveau de nos échanges et de notre discussion, ce sera mieux pour tout le monde (Poutine, 17.04.15).

En revanche, la situation est différente lors des réunions du Club de Valdaï, où le public est composé d'experts, hommes politiques et hommes d'affaires russes et étrangers. Ce genre d'interlocuteurs est plus difficile à convaincre, d'une part. De l'autre, le format de ces conférences suppose un débat, la confrontation des différents points de vue. Il est donc scénarisé de sorte à faire apparaître une argumentation plus développée. Certes, l'usage des expressions émotionnelles et des figures de style facilite le passage des arguments aux conclusions en rendant l'argumentation «plus impulsive que convaincante» [Amossy, 2016: 245]. Cela permet de fluidifier l'adhésion de ce type de public aux points de vues du communicant, en gommant certains aspects du raisonnement qui pourraient faire l'objet de la critique. En dépit de cette astuce, les communicants du Kremlin ne négligent pas la construction de schèmes argumentatifs plus élaborés pour démontrer la légitimité de l'action internationale russe et le caractère illégitime des actes de l'Autre.

En principe, le discours légitimant l'action de la Russie dans les trois conflits, en Géorgie, en Ukraine et en Syrie, privilégie l'argumentation étatiste qui défend que le pouvoir d'État émane de la volonté électorale de la population. La mise en avant des lois régissant les rapports entre l'État et la population permet de ne pas remettre en cause les particularités politiques du régime. Ce postulat légaliste, inspiré en apparence du concept contractuel des rapports sociaux, conduit à l'affirmation que le caractère souverain du pouvoir participe de celui de la population qu'il défend dans le cadre des frontières de l'État. Cependant, au fil du développement de l'argumentation un certain nombre de contradictions finissent par apparaître.

Dans le conflit en Syrie, il s'agit en effet de soutenir le pouvoir étatique en place sans jamais l'associer explicitement au régime d'Assad, dont le nom n'est évoqué que très rarement. Pour les cas géorgien et ukrainien, la distinction se fait entre les autorités mises en cause et le peuple. Dans le cas de l'Ukraine, le pouvoir en place depuis les événements de 2014 est présenté explicitement comme illégitime, car il a été obtenu par une minorité d'individus lors de la révolution de Maïdan, considérée comme un coup d'État. Les élections présidentielles ont été organisées dans une situation politiquement instable, résultant de ce coup d'État. Cela remet donc en cause également la légitimité du président Porochenko. Dans le cas de la Géorgie, ce n'est pas l'élection du président Saakachvili qui est contestée en premier lieu, mais son intervention militaire contre la république sécessionniste d'Ossétie du Sud. Cela permet donc de qualifier cette intervention comme un acte qui prive le chef de l'Etat géorgien de sa légitimité face à la population du pays.

À partir de ce positionnement, se construit la représentation du concept de souveraineté, lié étroitement à celui d'intégrité territoriale. Dans les trois cas, formellement ce sont ces trois États qui ont subi une atteinte à leur intégrité territoriale. La légitimité de l'intervention militaire russe en Syrie peut être argumentée par la demande des autorités syriennes officielles qui a suivi l'intervention de la coalition de l'OTAN menée par les États-Unis visant, entre autres, à renverser le régime d'Assad. En revanche, dans le cas de la Géorgie et de l'Ukraine, le discours propose une argumentation plus élaborée. Il aborde, en effet, la problématique du redécoupage des frontières dans l'espace postsovietique, dont la Russie fait elle-même l'objet pendant les années 1990 et lors de la guerre en Tchétchénie.

Paradoxalement, c'est la défense de la souveraineté qui devient dans les trois cas l'argument commun en faveur de l'action de la Russie. La menace principale contre cette souveraineté est désignée d'une manière souvent implicite et détournée, mais elle est toujours présentée comme d'origine occidentale et associée aux pays de l'OTAN. Cette menace est invoquée avec quelques nuances en fonction des conflits. Dans le cas de la Syrie, elle a été clairement formulée par les leaders occidentaux qui refusaient toute légitimité au régime d'Assad. Il ne s'agit, pour le pouvoir russe, que de rapporter le discours de l'Autre. Dans le cas de la Géorgie et de l'Ukraine, l'origine de la menace est associée à la politique de leurs dirigeants pro-occidentaux, prêts à sacrifier une partie de la souveraineté de leurs pays en les faisant adhérer à l'OTAN, sans être

véritablement accrédités par la majorité de la population. C'est donc cette intention prêtée aux gouvernements des deux États frontaliers de la Russie de limiter leur souveraineté au profit d'un bloc militaire dont la Russie ne fait pas partie, qui sert de principal argument commun légitimant l'action russe. La proximité des frontières russes constitue un argument complémentaire s'inscrivant plus largement dans la problématique de l'élargissement de l'OTAN à l'Est qui mettrait en cause les intérêts d'État et la souveraineté de la Russie.

A partir de ce positionnement lié à la défense légitime de la souveraineté, l'argumentation du Kremlin se construit avec un certain nombre de procédés discursifs récurrents. Ils ne se limitent pas à un enchaînement inductif des raisonnements, alternant diverses causes et conséquences. Parmi les plus fréquents, on peut distinguer deux modèles argumentatifs: l'explicitation par l'illustration développée sur plusieurs niveaux, et la comparaison contrastive. Les deux modèles peuvent se superposer dans le même propos, où des schémas de persuasion entrent en interaction et se complètent.

L'objet de la comparaison le plus récurrent dans l'argumentation du Kremlin est le cas de l'ex-Yougoslavie avec, notamment, l'indépendance du Kosovo. L'intervention de l'OTAN en Irak est un autre exemple évoqué dans le discours de la légitimation. Les structures comparatives partent de l'affirmation du caractère universel des droits des peuples à l'autodétermination, que ce soit au Kosovo ou en Ossétie du Sud et en Crimée. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi le pouvoir russe considère l'indépendance du Kosovo comme illégitime, alors qu'il a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud, de l'Abkhazie et de la Crimée. Dans ce cas, c'est l'argument de la représentativité lors de la prise de décision qui est avancé. Au Kosovo c'est le parlement qui s'est prononcé pour l'indépendance du pays, alors qu'ailleurs la décision a été prise lors des référendums, considérés comme un outil majeur d'expression de la volonté nationale. Le référendum est ainsi considéré comme un critère de légitimité pour tout changement politique important. C'est à partir des résultats de l'expression populaire lors des référendums que l'indépendance d'un territoire peut être reconnue. Ce critère est ainsi évoqué pour trancher dans la controverse entre le principe de l'intégrité territoriale d'un État et celui du droit à l'autodétermination.

13) Здесь же все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется, эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму

на референдум и проголосовали: хотим быть независимыми, следующий шаг — хотим быть в составе Российской Федерации. Напомню в сотый раз: в Косово не было референдума, только парламент проголосовал за независимость, — и все. И все, кто хотел поддержать и разрушить бывшую Югославию, сказали: вот и слава богу, мы с этим согласны. А здесь не согласны. Тогда давайте будем спорить, смотреть документы ООН, посмотрим, что такое Устав ООН, где написано о праве наций на самоопределение. Будем спорить бесконечно. Но мы исходим из волеизъявления людей, живущих на этой территории.

Tout le monde se considère comme démocrate ici. Qu'est-ce donc, la démocratie? C'est le pouvoir du peuple. Comment est testé ce pouvoir du peuple? Avec des référendums, des élections, etc. Les habitants de Crimée sont venus au référendum et ont voté: nous souhaitons être indépendants, le pas suivant a été: nous souhaitons être dans la Fédération de Russie. Je vais rappeler pour la énième fois: il n'y a pas eu de référendum au Kosovo. C'est juste le parlement qui a voté l'indépendance, c'est tout. Et ceux qui ont voulu le soutenir et détruire la Yougoslavie se sont dit: tant mieux et Dieu merci, nous sommes d'accord. Mais ici on n'est pas d'accord. Alors, nous pouvons en débattre, étudier les documents de l'ONU, la Charte de l'ONU qui définit le droit des nations à l'autodétermination. On peut en débattre indéfiniment. Mais nous, nous partons du principe de l'expression de la volonté des gens qui vivent sur ce territoire. (Poutine, Valdaï, 18.10.2018)

Comme on le voit, le pouvoir russe cherche la légitimité dans des règles formelles, en proposant une interprétation qui prétend à l'objectivité et à la cohérence, avec des critères universels applicables à n'importe quelle situation et n'importe quel pays, y compris la Russie. Ce cadre légaliste inspiré du concept d'État-Nation, avec ses pendants relatifs à la souveraineté, que le pouvoir russe défend en matière de relations internationales, le constraint donc à le faire respecter à l'intérieur du pays. Or comme de nombreux autres pays, la Russie n'est pas à l'abri des séparatismes, et le pouvoir s'adapte aux nouveaux enjeux en développant un discours qui s'inscrit à la fois dans la logique néo-westphalienne et le cadre idéologique national de l'Empire russe de la fin du XIXe siècle. La légitimation retrouve sa place dans le discours centré sur l'affirmation de l'identité nationale, qui a pour vocation d'assurer l'unité de la population et d'écartier les situations délicates où les gouvernants seraient confrontés aux problèmes liés à l'intégrité territoriale et au respect du droit à l'autodétermination.

La construction d'une nouvelle identité avec ses enjeux et contradictions

Depuis le début des années 2000, le pouvoir politique cherche des appuis à sa légitimité dans l'ambiguité des constructions idéologiques, se tournant vers les idées conservatrices et patriotiques, tout en prêchant le libéralisme économique. Les autorités russes évitent de s'imposer un cadre idéologique trop rigide qui limiterait leur marge de manœuvre et leur électorat. Cela explique le caractère flexible de la vision du monde du Kremlin. Cette vision du monde est toutefois suffisamment précise pour délégitimer les adversaires potentiels, mais elle reste, en même temps, assez large pour que le plus grand nombre puisse y adhérer, conférant ainsi sa légitimité au pouvoir.

Il y a donc un prérequis minimal pour adhérer à ce cadre. Ce prérequis est centré principalement sur les manifestations d'un «patriotisme raisonnable». Il s'agit d'être fier du redressement de la Russie après la chute de l'URSS, de refuser l'emprunt direct des modèles occidentaux sans leur adaptation à la société ou à l'économie russes, de critiquer le libéralisme débridé des années 1990, de se féliciter de voir augmenter le poids de la Russie sur la scène internationale, d'accepter une vision désabusée des relations internationales où tout serait subordonné aux intérêts des grandes puissances, qui dissimuleraient cela derrière des pseudo-idéaux dogmatiques. En dehors de ce cadre commun, il est possible d'exposer différentes doctrines politiques, allant de l'apologie de l'Empire russe et du panslavisme jusqu'aux projets de restauration de l'Union soviétique [Radvanyi, Laruelle, 2016: 194-196]. Les partisans des idéologies extrêmes, de droite ou de gauche, sont en revanche poursuivis par la loi interdisant l'appel à la haine raciale, aux désordres de masse ou au renversement du régime constitutionnel, etc. En même temps, ce sont les idéologies extrêmes qui, malgré leur impact relativement marginal dans la société russe, peuvent porter atteinte à la légitimité du régime. Des poursuites pénales sont engagées pour les faits prévus par la législation, tout en visant un second objectif, celui de l'isolement et de la marginalisation de ces idéologies¹.

Le Kremlin laisse d'ailleurs ces différents courants d'idées, avec leurs soutiens financiers et industriels respectifs, s'affronter dans des rapports de concurrence. A certains moments, les concepts et notions des uns et des autres sont repris dans le discours officiel et

¹ La loi fédérale N433 - FZ du 28.12.2013 introduit au Code pénal un amendement prévoyant des peines diverses pour les appels publics explicites à la violation de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie.

abandonnés ensuite s'ils ne remplissent pas leur fonction intégratrice. Ainsi les concepts des néo-eurasistes ont fourni un cadre conceptuel au projet d'Union économique eurasienne, et celui du Monde russe est toujours entretenu, sans toutefois occuper une place importante dans le discours officiel, car il ne semble plus remplir la fonction de rassemblement initialement prévue et n'a pas donné les résultats escomptés.

A partir de 2012 et suite à l'article du candidat Vladimir Poutine, publié le 23 janvier pendant la campagne présidentielle, le pouvoir semble donner des gages sérieux aux idées mettant en valeur le particularisme de la Russie. Cet article a été hautement apprécié par les leaders des mouvements néo-eurasiste et nationaliste comme Alexandre Douguine ou Alexandre Prokhanov qui y voient le début d'un positionnement précis du pouvoir politique, sans l'électisme idéologique et les ambiguïtés propres au discours des années précédentes¹.

Le discours du pouvoir reprend ainsi le concept d'État-nation pluriethnique avec le vocabulaire qui en introduit les notions de base, comme le «code civilisationnel», le «peuple russe constructeur d'État», les «attaches spirituelles». En somme, le pouvoir s'approprie les mots-clés empruntés aux travaux du philosophe slavophile Nikolaï Danilevski (1822-1885) et, notamment, à son ouvrage fondamental la *Russie et l'Europe* (1868) dont la vision critique de la civilisation européenne et de l'eurocentrisme a été largement relayée dans l'Empire russe à la fin du XIX^e siècle².

14) Русский народ является государствообразующим — по факту существования России. Великая миссия русских — объединять, скреплять цивилизацию. [...] скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет «националов», а принцип распознания «свой-чужой» определяется общей культурой и общими ценностями (Путин, 23.01.2012).

Le peuple russe est bâtisseur d'État, du fait de l'existence de la Russie. La grande mission des Russes est d'unir, de souder la civilisation. [...] souder les Arméniens russes, les Azerbaïdjanais russes, les Tatars russes... Les unir dans un type d'État-civilisation où il n'y a pas de

¹ Зуев И., « Александр Дугин о статье Путина: Ощущение — будто сам написал! », Накануне.ru, 24.01.2012, <http://www.nakanune.ru/articles/16159>, consulté le 01.12.2018

² Данилевский Н., Россия и Европа, Алгоритм, М., 2014

«minorités nationales» et où le principe du Soi et de l'Autre est défini par la culture commune et les valeurs communes¹ (Poutine, 23.01.2012).

Le discours du pouvoir emprunte, sans évoquer la source, l'idée de Danilevski qui affirme la capacité historique et naturelle de la Russie à surmonter les difficultés d'organisation d'une société pluriethnique. L'Europe multinationale au XIXe siècle comme au XXIe se heurte en permanence à des crises identitaires qui apportent la division des nations. La Russie, avec son parcours historique particulier, sait comment construire sa société pluriethnique unie et comment gérer les contradictions interethniques. De ce fait, elle se positionne à l'avant-garde de l'Europe et peut même lui servir d'exemple. La Russie est ainsi présentée comme une autre Europe, authentique, qui a pour mission de rappeler à l'Europe occidentale sa véritable identité. Cette idée du rôle messianique de la Russie pour l'Europe qui a oublié ses racines, empruntée aux slavophiles du XIXe siècle, a été modernisée et placée dans le contexte contemporain, marqué par la crise de l'État-Nation.

Malgré une certaine attractivité de l'idée messianique flattant la fierté nationale, Poutine, dans son article, semble chercher sa légitimité auprès d'un segment social relativement restreint. Le risque est ainsi bien réel de s'enfermer dans une doctrine qui ne trouve pas que des adeptes dans la société russe. D'une certaine manière, l'idéologie du particularisme national élargit son influence en général avec la montée du populisme et des nationalismes dans certains pays de l'Union européenne et dans le monde, avec les États-Unis de Trump, ou le Brésil de Bolsonaro. Dans ces pays où, vers la fin du XXe siècle, le potentiel d'émancipation du nationalisme semblait être épaisé, ayant laissé place à une politique conservatrice défendue par une partie des élites politiques, le besoin d'une nouvelle mobilisation nationale commence à se manifester dans certaines couches de la société. Cela traduit la réaction à des menaces intérieures et extérieures, réelles ou imaginées dans la conscience collective. En se revendiquant de cette idéologie nationaliste et en laissant les médias la populariser, le pouvoir russe répond à une aspiration similaire dans la société russe, après l'annexion de la Crimée et l'introduction des sanctions occidentales. Les dirigeants russes cherchent ainsi à surfer sur la tendance mondiale en la greffant sur l'état d'esprit de la société russe après 2014. Le «patriotisme raisonnable» devient ainsi un pilier idéologique légitime et un outil

¹ Ce texte est traduit en français par Michel Niqueux dans *L'Occident vu de Russie. Anthologie de la pensée russe de Karamzine à Poutine*, Institut d'études slaves, Paris, 2017, p. 722

indispensable d'une mobilisation sociale dont dépendrait la survie de l'État et de la Nation.

D'autre part, le concept d'État pluriethnique se présente comme un socle idéologique commun et un terrain de réflexion pour les partisans d'idéologies diverses. C'est encore une manière de poser un cadre national pour une vision du monde ayant un fort ancrage dans le patriotisme, une vision qui serait suffisamment large pour l'adhésion du plus grand nombre de Russes. Le pouvoir propose ainsi un modèle d'État-Nation construit à partir de deux éléments constitutifs d'un ensemble national: un appel au mythe de la communauté des origines et une projection d'une communauté de destin. Ce modèle est considéré comme suffisamment attractif pour la majorité des concitoyens. Il permet de légitimer les institutions de reproduction de la Nation. Par conséquent, il fonde la légitimité des gouvernants.

15) Нам всем: и так называемым неославянофилам, и неозападникам, государственникам и так называемым либералам — всему обществу предстоит совместно работать над формированием общих целей развития. [...] Суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны. Это те «красные линии», за которые нельзя никому заходить. При всей разнице наших взглядов дискуссия об идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников. Патриотизма, конечно, в самом чистом значении этого слова (Путин, 19.09.2013).

Il nous faut tous, néo-slavophiles et néo-occidentalistes, étatistes et libéraux, toute la société, travailler en commun à l'élaboration des buts généraux du développement. [...] La souveraineté, l'indépendance, l'intégrité de la Russie sont inconditionnelles. Ce sont des «lignes rouges» que personne ne doit franchir. Malgré toute la diversité de conceptions, la discussion sur l'identité, sur l'avenir national est impossible sans le patriotisme de tous les participants. Patriotisme, bien sûr, au sens le plus noble du terme¹ (Poutine, 19.09.2013).

En laissant de côté la question de l'acceptabilité dans la société russe de cette idée d'un État pluriethnique donné en exemple à l'Europe, nous pouvons supposer que son apparition dans le discours du pouvoir vise à légitimer ses mesures de la centralisation des rapports dans le système fédéral en Russie, avec l'encadrement légal rigoureux des compétences des sujets de la Fédération, et les modifications de la législation électorale appliquée dans les régions. La construction

¹ Traduction de Michel Niqueux, 2017, p. 726–727.

de la «verticale du pouvoir» limite ainsi le potentiel des oppositions régionales de nature nationaliste ou économiste pouvant échapper au contrôle du centre. De cette manière, le pouvoir central neutralise des désaccords éventuels en anticipant toute tentative d'un référendum, une pratique pourtant encore courante en Russie des années 1990.

Certes, à l'heure actuelle il n'existe pas de projet officiel rompant ouvertement avec l'organisation fédérale. Cependant, la reprise dans le discours du concept d'État-nation pluriethnique, avec le «rôle dominant» du peuple russe, «bâtisseur d'État», semble attribuer de la légitimité à la transformation de la Russie, au cours des années 2000, en une fédération très centralisée avec des territoires contrôlés de près par Moscou. Ce nouveau cadre identitaire pourrait également préparer le terrain pour la transformation formelle de la fédération en un État unitaire, ce qui entérinerait simplement un état de fait.

Le retour aux concepts des conservateurs du XIXe siècle, qui défendaient le pouvoir illimité de l'autocratie russe, entre finalement dans la logique du pouvoir actuel, soucieux de sa pérennité. Les constructions identitaires que l'on trouve dans le discours visent ainsi à légitimer la nécessité de la stabilité du régime politique en place, en le présentant comme le seul capable, en Europe et dans le monde, de préserver l'unité du territoire et de ses populations.

Conclusion

D'une manière générale, le discours de légitimation à visée externe entre en interaction avec celui destiné à l'interne. Leur convergence se manifeste au niveau des stratégies discursives qui, malgré la diversité de combinaisons, remplissent des fonctions similaires. Elle existe également sur le plan des idées concernant le rôle et la place de la Russie, et les rapports entre gouvernants et gouvernés. Que ce soit dans la construction de la légitimation de l'action internationale ou dans la présentation des concepts identitaires, c'est toujours le rapport à l'Occident qui reste le dénominateur commun de la vision du monde du pouvoir. Malgré l'affirmation de sa spécificité, le pouvoir mesure son action et son image en se référant au monde occidental, ce qui lui permet de s'évaluer, mais de la manière souvent interprétée comme inappropriée par les «partenaires occidentaux». Ces décalages d'interprétation incitent le pouvoir à chercher des éléments de sa légitimité dans l'idée de l'exception nationale. Le discours du pouvoir s'appuie

donc sur la restauration d'idées affirmant le statut de grande puissance de la Russie, tout en jonglant avec des arguments de nature légaliste.

Le concept d'État-Nation est ainsi réactualisé dans le discours à visée externe où sont élevés au premier rang les principes de l'intégrité territoriale et de la souveraineté sans limitation. Le pouvoir parvient à contourner ces principes en légitimant son action par l'argument du droit à l'autodétermination. Il tire profit des contradictions entre les notions et de la division actuelle que connaît le monde occidental pour lui adresser sa vision de l'État et des rapports entre États. Les représentations de la souveraineté tendent vers la défense du particularisme national, opposé à l'universalisme occidental, qui se trouve actuellement contesté par les populations des pays européens. Les exemples récents des ruptures (Brexit, référendum catalan et autres) sont avancés pour démontrer les limites de l'universalisme et dénoncer le relativisme en matière de souveraineté. C'est donc dans son sens classique que la notion de souveraineté est défendue, dans la mesure où c'est la Nation qui confère au pouvoir le droit légitime de la défendre, face à d'autres acteurs nationaux et internationaux qui pourraient vouloir la limiter.

D'autre part, les thèses exposées dans le discours adressé à l'Occident alimentent les représentations identitaires que le pouvoir construit dans son discours à visée interne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le destinataire russe est visé en priorité dans le discours légitimant l'action de la Russie dans le domaine des relations internationales. Ensuite, le discours à visée interne reprend l'interprétation du concept d'État national pour légitimer la raison d'être du pouvoir dans un nouveau cadre identitaire. Ce cadre patriotique vise à rassembler la majorité pluriethnique de la population de la Russie autour de la vision du monde formulée dans le discours du pouvoir et relayée largement par les médias. Le discrédit actuel du modèle multi-culturaliste occidental permet au pouvoir russe de valoriser son propre concept de Nation pluriethnique.

Certes, la population en Russie est encore très loin de former un grand rassemblement pluriethnique. Plusieurs observateurs considèrent comme utopique cette réactualisation des idées de la fin du XIXe siècle dans la société contemporaine [Янов, 2012]. Cependant, le système de communication du Kremlin a toujours fait preuve de flexibilité idéologique, en s'adaptant aux nouvelles tendances de la société russe et aux dynamiques politiques et économiques dans le monde. Le discours nationaliste a déjà été l'objet d'adaptations, depuis les élections

de 2003, en se fondant dans un premier temps dans les discours des partis parlementaires. Puis après avoir obtenu ce vernis de respectabilité, certains concepts nationalistes ont été réintégrés par le discours du pouvoir, avant d'être probablement mis au rencart, pour peu qu'une nouvelle tendance survienne pour dynamiser le processus de la légitimation. Aujourd'hui, ce sont les idées du particularisme national qui semblent faciliter la tâche de légitimation auprès de la majorité, car elles permettent de fournir des explications extérieures aux difficultés économiques et aux mesures sociales impopulaires. Il est difficile de juger si ce discours patriotique servira longtemps au pouvoir russe de bouclier légitimant. On peut toutefois penser que la vision du monde de cette idéologie restera dominante dans l'espace politico-discursif tant qu'elle remplira avec succès sa fonction de légitimation.

Bibliographie

- Amossy, R. (2016). *L'argumentation dans le discours*, Paris: Armand Colin.
- Charaudeau, P. (1998). L'argumentation n'est peut-être pas ce que l'on croit, *Le Français d'aujourd'hui*, 123, pp. 6-15.
- Kossov, V. (2018). La métaphore dans l'argumentation du Kremlin: la (dé-)légitimation des conflits (dans Domenec Fanny et Resche Catherine (dir.)), *La fonction argumentative de la métaphore dans les discours spécialisés*, Bern: Peter Lang, pp. 23-44.
- Kossov, V. (2015). Discours politique russe contemporain: voix du pouvoir, (ouvrage HDR inédit).
- Niqueux, M. (2017). *L'Occident vu de Russie. Anthologie de la pensée russe de Karamzine à Poutine*, Paris: Institut d'études slaves.
- Radvanyi, J., Laruelle, M. (2016). *La Russie: entre peurs et défis*, Paris: Armand Colin.
- Gudkov, L., Dubin, B. (2007). *Nevozmozhnyi natsionalizm: ritorika nomenklatury i ksenofobiya mass (en russe)*, Russkii natsionalizm v politicheskem prostranstve, Moscou, Franco-Rossiiskii tsentr guumanitarnykh i obshchestvennykh nauk, pp. 276-310.
- Danilevskii, N. (2014). *Rossiia i Evropa (en russe)*, Moscou, Algoritm.
- Zuyev, I. «Aleksandre Dugin o stat'e Putina: Oshchushchenie-budto sam napisal!», <http://www.nakanune.ru/articles/16159> (consulté le 1 decembre 2018).

Yanov, A. U kogo Putin «spisal» svoyu stat'u na samom dele?
<https://snob.ru/profile/11778/print/46401> (consulté le 3 decembre 2018).

Liste bibliographique des exemples

Zayavlenie dlja pressy i otvety na voprosy zhurnalistov po itogam peregovorov s Prezidentom Frantsii Nikolai Sarkozi (12.08.2018) [Medvedev, Conférence de presse conjointe de Dmitri Medvedev et Nicolas Sarkozy (en russe)]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/1072> (consulté le 4 decembre 2018).

Nezavisimaya gazeta, Poutine (23.01.2012), Rossiia: natsionalnyi vopros [La Russie et la question des nationalités (en russe)] URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html?insidetoc (consulté le 3 decembre 2018).

Poutine (19.09.2013), Zasedanie Mezhdunarodnogo diskussionsnogo kluba «Valdaï» [Réunion du Club international du débat politique «Valdaï» (en russe)]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19243> consulté le 4.12.2018 (consulté le 4 decembre 2018).

Poutine (17.04.2015), Priamaia liniya s Vladimirom Putinym [Ligne directe avec Vladimir Putin (en russe)]. URL: <https://rg.ru/2014/04/17/liniya-site.html> (consulté le 4 decembre 2018).

Poutine (18.10.2018), Zasedanie Mezhdunarodnogo diskussionsnogo kluba «Valdaï» [Réunion du Club international du débat politique «Valdaï» (en russe)]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/58848> (consulté le 3 decembre 2018).

Дискурс легитимации политической власти в России: концептуальные и идеологические задачи и противоречия

Представлены стратегии, на которые опираются политические силы, воплощающие институт власти в современной России, для укрепления легитимности своих решений и проводимой политики в глазах потенциального избирателя и внешнеполитических партнеров.

Анализ обширного корпуса выступлений и интервью Президента РФ В. В. Путина и премьер-министра Правительства РФ Д. А. Медведева, опубликованных или транслированных российскими СМИ в период с 2008 по 2018 г., позволяет говорить

о том, что именно внешняя политика России выступает основным источником легитимирующего дискурса, преследующего цель укрепления позиций существующей вертикали власти как внутри страны, так и за рубежом.

Доминирующими стратегиями такого легитимирующего дискурса являются стратегии самопрезентации и аргументации.

Так, политика России в контексте трех наиболее значимых ее решений, вызвавших активное и неоднозначное обсуждение в международном сообществе — участие в грузино-осетинском конфликте, воссоединение Крыма с Россией и политическая поддержка Сирии, — позиционируется как череда легитимных действий субъекта международного права, а демарши политических противников подвергаются экспрессивной негативной оценке, часто гиперболизированной. Первостепенную роль в такой оценочной поляризации играют лексические средства, создающие в условиях медиаэха устойчивый вокабуляр легитимации себя и делегитимации других.

Исследование показало, что, используя стратегию аргументации, В.В. Путин опирается на такие ее модели, как объяснение при помощи убедительных и красноречивых примеров, заимствемых из разных сфер жизни общества, и сравнение. В последнем случае в качестве источников для сравнения выступают получившие печальную известность в истории международного права прецеденты: военная операция в Югославии, вторжение в Ирак.

Важнейшим аргументом для легитимации российской власти на международной арене является идея об исключительности России, о ее особой роли в мировых geopolитических процессах в силу богатого многовекового опыта соблюдения принципа полигэтничности во внутренней политике. В контексте разразившегося в Европе миграционного кризиса, вызвавшего всеобщее разочарование западной моделью мультикультурного общества, подобный опыт приобретает исключительную значимость.

Таким образом, отказавшись от эксплицитной государственной идеологии, скомпрометировавшей себя в советское время, современные российские политические элиты сделали ставку на имидж государства и его руководителей на международной арене в качестве основного легитимирующего ресурса.

Привлекательные черты этого имиджа транслируются не только вовне, но и во внутреннее политическое пространство, обеспечивая высокий рейтинг руководителей и создавая основу для новой идеологии — идеологии исключительности России, ее мессианской роли в Европе и в мире.

Глава II

ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: ЕВРОПА

2.1. Le fact-checking: arbitre de la parole légitime?

La présente contribution a pour objectif de s'intéresser à la construction de la légitimité politique dans sa dimension discursive. Il s'agit par conséquent d'articuler le plan linguistique et le plan politique, de comprendre le rôle que joue la légitimité en discours sur la légitimité politique. Sur le plan politique, la légitimité peut être conçue comme une forme de reconnaissance du pouvoir par ceux qui ne l'exercent pas:

Si tous les citoyens et tous les groupes de citoyens ont la faculté arbitraire d'agir, l'arbitraire de cette faculté cesse à partir du moment où la société civile la reconnaît à tels citoyens et à tels groupes de citoyens et l'interdit à tous les autres. En ce sens la société légitime le pouvoir [Moreau de Bellaing, 1983: 9].

La légitimité politique est par ailleurs une notion centrale pour expliquer et comprendre l'organisation des sociétés (voir sur ce point la typologie de Weber, 1922 et Dogan, 2010). Sur le plan linguistique, la légitimité peut être également envisagée en termes de pouvoir et de reconnaissance: la notion d'*ethos*, telle qu'elle est pensée par Aristote (*Rhétorique I*, 2, 1356a) suggère que si tout orateur peut prendre la parole, tous ne sont pas jugés légitimes pour le faire. Au caractère de l'orateur est attachée une certaine crédibilité, qui est déterminante pour que le discours puisse susciter l'empathie du destinataire (*pathos*) et que l'argumentation (*logos*) soit convaincante. Légitimité politique et légitimité discursive sont toutes deux des constructions qui reposent sur le rapport à l'autre.

Afin de restreindre le champ d'étude, ce travail inscrit la question de la légitimité politique dans le cadre du discours journalistique, et plus précisément dans un phénomène relativement nouveau: le *fact-checking*. Cette pratique se développe dans un contexte particulier, celui de l'augmentation du flux d'information, que le mot-valise *infobésité* tente de traduire. Cette augmentation est liée à la multiplication du nombre de locuteurs possibles sur la scène médiatique. Chacun, notamment via les réseaux sociaux, a la possibilité de prendre la parole dans l'espace public, ce qui tend à complexifier les configurations communicationnelles possibles et ce qui offre un terrain propice à la désinformation car ce sont autant de canaux susceptibles de relayer ce que l'on nomme désormais *infox*¹. On comprend comment ce contexte tend à multiplier les crises de légitimation de la parole politique et la pratique du *fact-checking* semble, dans ces crises, attribuer à la presse le rôle d'arbitre de la parole légitime. Pour analyser ce phénomène, nous nous appuyons sur le concept de *tiers*, développé par Charaudeau (2004): il repose sur l'idée que la communication dépasse la simple relation locuteur-interlocuteur et suppose un tiers dont la prise en considération est déterminante pour comprendre la construction du sens. Le discours politique par exemple, ne peut se concevoir «hors de la triangularité» [Charaudeau, 2004: § 8]: l'instance politique qui s'adresse à l'instance citoyenne le fait toujours en fonction d'une instance adverse. Ainsi, tout ce qui est dit est conditionné par l'interlocuteur, mais également par le tiers; la parole s'inscrit dans un espace communicationnel dicté en partie par le genre, dans un espace énonciatif mis en scène par le locuteur et dans un espace interdiscursif dans lequel le locuteur se positionne par rapport à des «univers de connaissances et de croyance» [Charaudeau, 2004: § 41]. C'est dans ce cadre que notre propos tentera de mettre au jour les procédés de légitimation et de délégitimation du politique via le *fact-checking*. Pour cela, les analyses porteront sur un corpus de 50 articles parus entre 2014 et 2018 dans la rubrique *Faktencheck* du magazine allemand *Der Spiegel*. Afin de mieux comprendre les enjeux du *fact-checking*, nous commencerons par caractériser ce phénomène médiatique sur le plan linguistique avant de poser la question de la (dé-)légitimation du politique.

¹ Ce mot valise entre information et intoxication a été retenu en octobre 2018 par la commission d'enrichissement de la langue française pour traduire le terme anglais fake news : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/04/la-traduction-officielle-de-fake-news-sera-infox_5364490_4408996.html

La pratique du fact-checking: le dispositif énonciatif d'un phénomène médiatique

Le *fact-checking* ou vérification des faits est une pratique journalistique née dans les années 1920 aux États-Unis. À l'origine, il s'agit d'une procédure de vérification faite systématiquement par le secrétaire de rédaction d'un journal et qui consiste à «vérifier noms, dates, chiffres et faits dans l'ensemble des articles, avant publication» [Bigot, 2017: 131]. Depuis le début des années 2000, la pratique du *fact-checking* a évolué, notamment pour répondre à des contraintes économiques (voir [Guerrini 2013]), et désigne désormais un travail qui consiste à «vérifier la véracité de propos tenus par des responsables politiques ou d'autres personnalités publiques» [Bigot, 2017: 131]. D'interne à la rédaction d'un journal et systématique, la pratique est désormais externe et ciblée. Le principe affiché du *fact-checking* est de revenir aux faits pour rétablir la vérité et lutter contre la désinformation.

Le *fact-checking* est avant tout un phénomène médiatique qui connaît une mise en œuvre différente en fonction des pays. En France, le journal *Libération* est le premier support de presse écrite à avoir lancé en 2008 une rubrique de *fact-checking* (intitulée «Désintox»), suivi en 2009 par *le Monde* et ses «Décodeurs». Au début des années 2010, le phénomène s'étend à la radio et à la télévision. En 2012, *France info* lance l'émission «le Vrai du faux», *Europe 1* «Le Vrai-faux de l'info». La rubrique «Désintox» de *Libération* devient à partir de 2012 également une séquence de l'émission «28 minutes» sur la chaîne *arte*. En 2014, le journal télévisé de *France 2* crée «L'œil du 20 H». Et on ne compte plus le nombre de rubriques, de séquences consacrées à vérifier l'information¹. L'Allemagne n'échappe pas au phénomène *fact-checking*, même si ce dernier a — du moins pour l'instant — tendance à se cantonner à la presse écrite ou à être pratiqué par des *pure players*, à savoir des sites web sans édition papier exclusivement consacrés à la vérification des faits². La télévision et la radio allemandes ne sont cependant pas totalement épargnées par le *fact-checking*. Depuis avril 2017, le groupe audiovisuel ARD a lancé sur son site internet un portail dédié à la lutte contre les infox (das Anti-Fake-news Portal, *faktenfinder.tagesschau.de*). Par

¹ Pour une présentation des différentes émissions et dispositifs qui ont vu le jour en France, nous renvoyons à la présentation détaillée de Bigot (2017).

² À titre d'exemple, on peut citer *Hoaxmap.org*, une carte interactive qui géolocalise les infox (notamment portant sur des crimes et des agressions supposément commis par des migrants) et propose de les déjouer, ou encore le site autrichien *mimikama.at*.

ailleurs, l'émission de *talk-show* «hart aber fair» diffusée tous les lundis soirs sur *Das Erste* (ARD) dispose de son propre site de *fact-checking*: tous les mardis y sont publiés des articles vérifiant les propos des invités politiques de la veille. Et il en va de même pour bon nombre de talk-shows qui, faute de temps pendant l'émission, reviennent *a posteriori* et sur internet sur les propos tenus par les politiques ou sur les questions restées ouvertes. Tel est le cas par exemple du talk-show «Maischberger» sur ARD. Le phénomène *fact-checking* dans son acception moderne est par conséquent encore en cours d'installation et il est difficile de prévoir les formes et l'ampleur qu'il prendra à l'avenir. Nous avons retenu pour la présente étude des articles extraits du *Spiegel* qui pratique encore les deux formes de *fact-checking*: en 2010, le magazine employait 70 *fact-checkers* à temps plein et faisait appel à une trentaine d'experts pour vérifier l'ensemble des informations publiées dans la version papier, ce qui en faisait le magazine avec le plus de *fact-checkers* au monde [Silvermann, 2010]. Dans un article publié en août 2017¹ dans lequel le *Spiegel* ouvre les portes de sa rédaction, le magazine affirme toujours être le journal allemand à employer le plus de *fact-checkers*.

Mais au-delà du phénomène médiatique, le *fact-checking* institue une nouvelle forme de dispositif énonciatif. Effectivement, du point de vue linguistique, il est possible d'établir certaines caractéristiques récurrentes de ce type de texte. Tout d'abord, si le phénomène existe à la fois en France et en Allemagne, il convient de signaler que le terme de *Faktencheck* en allemand ne renvoie pas à la même procédure que les rubriques *infox*, *intox* en français. Dans les rubriques françaises, on part d'une information erronée ou fallacieuse, tandis que le terme allemand implique simplement une vérification. Même si, à la lecture du corpus, on constate que la grande majorité des textes consiste effectivement à déconstruire ce que l'on qualifierait en français d'*infox*, la présomption de vérité induit un schéma textuel différent. Seuls 7 articles sur 50 présentent d'emblée l'information qui sert de prétexte à l'article comme fausse, tandis que l'immense majorité des articles joue sur la lecture polyphonique² des interrogatives pour rendre leur titraille accrocheuse:

¹ <http://www.spiegel.de/extra/spiegel-dokumentation-so-arbeiten-die-unsichtbaren-a-1161377.html>

² « L'explication polyphonique fait l'hypothèse que la phrase interrogative met en scène trois énonciateurs distincts, E1, E2, E3 : le premier est responsable de l'assertion préalable d'un certain contenu positif p ; E2 est responsable de l'expression d'un doute quant à la vérité de p ; E3, enfin, est responsable de la demande adressée au destinataire de lever le doute » [Moeschler & Auchlin 2000 : 148].

16) *Gibt es eine „Lügenpresse“?* (Janssen, *Der Spiegel*, 15/01/15)¹

17) *Ist Deutschland ein „Gefangener Russlands“?* (Hecking, *Der Spiegel*, 11/07/18)²

18) *Kann man den Tagebau Hambach stilllegen?* (Schulz, *Der Spiegel*, 18/09/18)³

19) *Ist der Osten fremdenfeindlicher als der Westen?* (Reimann, *Der Spiegel*, 01/09/15)⁴

L'explication polyphonique des interrogatives suppose au moins un énonciateur E1 qui pose le contenu propositionnel de l'interrogative, un énonciateur E2 qui le met en doute et un énonciateur E3 qui formule la question. Dans le cadre du *fact-checking*, l'identité de E1 est systématiquement donnée dans le texte. Si la présence des guillemets dans les exemples (16) et (17) montre qu'il s'agit bien d'interroger le bien-fondé des propos tenus par un énonciateur tiers, les exemples du type (18) et (19), malgré l'absence de marquage, relèvent du même procédé. Ces énoncés sont attribués au cours du texte à des énonciateurs identifiables. Ce phénomène de lecture polyphonique de l'interrogative, quand il n'est pas présent dans le titre, peut alors être explicité dans le chapeau:

20) *Sie möge nicht so „weinerlich“ sein, pflaumte Unionsfraktionschef Kauder Familienministerin Schwesig an, als sie für die Frauenquote kämpfte. Die SPIEGEL-Dokumentation macht den Faktencheck: Wer ist die wahre „Drama-Queen“?* (Janssen, *Der Spiegel*, 28/11/14)⁵

On a bien ici un énonciateur E1, la ministre de la famille Manuela Schwesig qui qualifie de honteux⁶ le fait de considérer les femmes occupant des positions dominantes dans les entreprises comme un fardeau pour l'économie. Un énonciateur E2, Volker Kauder le président du groupe CDU/CSU au Bundestag, lui demande de ne pas être aussi «pleurnicharde». Enfin, l'énonciateur E3 pose la question de savoir

¹ Existe-t-il une « presse mensongère » ?

² L'Allemagne est-elle « prisonnière de la Russie » ?

³ Peut-on fermer la mine à ciel ouvert de Hambach ?

⁴ L'Est est-il plus xénophobe que l'Ouest ?

⁵ Elle pourrait ne pas être aussi « pleurnicharde », dit avec désobligeance le président du groupe CDU/CSU au Bundestag, lorsqu'elle se battait pour instaurer un quota de femmes. La SPIEGEL-Dokumentation vérifie les faits : Qui est la vraie « Drama-queen » ?

⁶ « *Es ist eine Unverschämtheit, wenn Frauen in Führungspositionen als Belastung für die Wirtschaft dargestellt werden* » [C'est une honte de considérer les femmes occupant des postes de direction comme un fardeau pour l'économie] (*Spiegel online*, 14/10/14 : <http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenquote-cdu-und-spd-streiten-ueber-einfuehrung-a-997079.html>).

lequel des deux a raison et prétend répondre à cette question au cours de l'article. Quelle que soit la forme retenue (titre sous forme interrogative ou chapeau explicitant les rapports entre interlocuteurs), les textes de *Faktencheck* du *Spiegel* se présentent comme des métatextes, des textes commentant une affirmation. De manière générale, cette affirmation est systématiquement présentée de façon plus ou moins explicite dans les éléments paratextuels (titraille) et reproduite avec le maximum de distanciation que permettent les guillemets, le *Konjunktiv I*, les emplois modalisateurs de *sollen* ou encore la matérialité de l'affirmation d'origine (par exemple sous forme de tweet ou d'extrait vidéo). À l'échelle du texte, le *fact-checking* apparaît comme la présentation d'un conflit inter-énonciateur qui est arbitré par un énonciateur tiers. La réponse à la question n'apparaît qu'en fin d'article dans un paragraphe généralement intitulé *Fazit* (verdict / bilan) et parfois avec l'attribution d'une note. Pour le cas présenté ci-dessus, l'article donne ainsi raison à la ministre de la famille:

21) *Die goldene „Drama-Queen“ gebührt Volker Kauder* (Janssen, *Der Spiegel*, 28/11/14)¹.

Par ailleurs, l'auteur de l'affirmation qui a fait l'objet du *fact-checking* est ridiculisé par ce verdict final qui le qualifie de *Drama-queen*, soit une personne qui tend à exagérer et à dramatiser les situations jusqu'au ridicule. Au-delà du propos vérifié et confronté à des faits, c'est l'*ethos* du locuteur qui est mis à mal et perd en crédibilité.

L'activité de *fact-checking* instaure un dispositif qui s'apparente à celui de la médiation tel que le décrit Charaudeau [2004: § 5-7], à la différence près que les partenaires ne sont pas co-présents. Le dispositif de médiation prévoit trois partenaires dont l'un est en position de médiateur. Ce tiers médiateur peut être *intercesseur* s'il tente d'apaiser les relations entre les deux autres partenaires, *animateur* s'il se contente de distribuer la parole ou bien *juge-arbitre* quand son rôle est de «juger au nom de la loi et d'édicter une sentence» [Charaudeau, 2004: § 7]. C'est ce dernier rôle qui nous intéresse particulièrement dans le cas du *fact-checking*. Dans le contexte que nous avons évoqué de multiplication des locuteurs possibles, on comprend que ces relations triangulaires sont devenues plus nombreuses et plus complexes.

L'arbitrage présenté ci-dessus par le conflit Kauder / Schwesig illustre bien le processus majoritairement à l'œuvre dans les articles de *fact-checking*. Effectivement, près de 70 % des textes du corpus

¹ Le premier prix de la « Drama-Queen » revient à Volker Kauder.

(Image 1) ont pour objet de vérifier l'affirmation d'une personnalité politique, à savoir un énoncé assertif clairement délimité et dont la prise en charge énonciative est assurée par un locuteur précis et identifiable. On peut également trouver d'autres types d'objets à vérifier comme des énoncés commissifs: Angela Merkel affirmant «*Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben*» (Janssen, *Der Spiegel*, 11/05/15) [Avec moi, il n'y aura pas de péages]; des promesses de campagne inscrites dans le programme politique de tel ou tel parti (Passage en revue du programme de l'AfD, Kaleta, Reimann & Weiland, *Der Spiegel*, 18/04/16); des prévisions souvent chiffrées (Le ministre de l'intérieur Thomas de Maizière annonçant l'arrivée de 800 000 migrants au cours de l'année à venir, Hagen, *Der Spiegel*, 02/09/15). Ces énoncés représentent à peu près 20 % des articles du corpus (Image 1). Ils présentent la particularité d'annoncer des faits non encore réalisés au moment de l'énonciation et d'engager le locuteur dans leur réalisation. Le *fact-checking* consiste alors soit à juger de la faisabilité de ces promesses / prévisions, soit *a posteriori* à revenir sur les promesses des responsables politiques. Ces énoncés ne sont pas toujours attribuables à un énonciateur particulier, comme dans le cas des programmes politiques qui engagent tout un parti. Enfin, les 10 % d'articles restants (Image 1) ont pour objet un énoncé dont la source n'est pas identifiable. Il peut s'agir d'une rumeur circulant sur internet (Angela Merkel dissimulerait un plan secret concernant les réfugiés, Meiritz & Schlossarek, *Der Spiegel*, 14/03/17) ou encore d'un préjugé (Les femmes politiques préfèrent faire carrière plutôt que d'avoir des enfants, Janssen, *Der Spiegel*, 31/07/15). La source de ces énoncés n'est certes pas identifiable (ils relèvent de la doxa ou sont en circulation sur les réseaux sociaux), mais dans les articles, ces

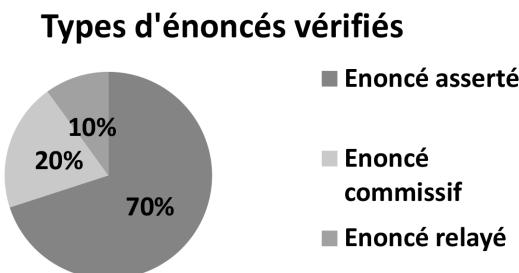


Image 1. Types d'énoncés soumis à vérification

énoncés sont tout de même incarnés par un locuteur-relais occasionnel. Ainsi, le préjugé sur les femmes politiques est attribué à la *Bild Zeitung* qui aurait relayé récemment cette idée. Le processus de (dé-) légitimation n'est donc jamais anonyme ou centré sur l'information, il concerne nécessairement le locuteur source ou un locuteur relais dont la crédibilité est entachée ou valorisée. Autrement dit, l'enjeu de la (dé-)légitimation dans le *fact-checking* concerne avant tout les acteurs politiques. Seul un article concerne la remise en cause d'un principe institutionnel (matérialisé toutefois dans un énoncé extrait du site du parlement: «*Der deutsche Bundestag repräsentiert das Volk*», Janssen, *Der Spiegel*, 05/09/15 [Le Parlement allemand représente le peuple]) pour déterminer si le *Bundestag* est bien représentatif du peuple allemand.

Si l'on reprend la typologie des objets de légitimation¹ politique élaborée par Norris [1999: 10], on constate qu'un seul des objets est remis en cause, à savoir les acteurs politiques. Or, comme le fait remarquer Schneider:

la délégitimation de ce groupe d'objets représente le défi le moins sérieux pour la légitimité des États-Nations démocratiques: le système des partis, les groupes d'intérêt ou les élites qui dominent la scène politique à un moment donné peuvent être critiqués et remplacés assez facilement sans altérer et même sans critiquer les principes de base et les institutions majeures d'un régime [Schneider, 2008: 118].

Au-delà du phénomène médiatique qui bouleverse les pratiques journalistiques, le *fact-checking* illustre la dimension communicationnelle que revêtent les processus de (dé-)légitimation des acteurs politiques. Reste à décrire ces processus et à mesurer leur impact.

Procédés de (dé-)crédibilisation

Le processus de (dé-)légitimation à l'œuvre dans les articles de *fact-checking* repose sur le principe selon lequel aux propos d'une personnalité politique sont opposés des faits. Autrement dit à la subjectivité est opposée une prétendue objectivité. Le problème réside dans le fait qu'«aucune information ne peut prétendre, par définition, à la neutralité ou à la factualité» [Charaudeau, 2005:

¹ Elle distingue la communauté politique, les principes fondamentaux caractérisant un régime, sa performance, ses institutions et les acteurs politiques (voir [Norris, 1999 : 127]).

31], elle est nécessairement une construction à travers le langage. Ce qui est en jeu dans le *fact-checking*, c'est en réalité l'opposition d'une parole contre une autre. Mais afin que la parole du *fact-checker* apparaisse comme factuelle, objective, un ensemble de procédés argumentatifs est mis en œuvre. Ce sont notamment les procédés bien connus qui sont employés de manière générale dans le discours journalistique et qui visent à apporter des preuves de natures différentes. Si l'on reprend la typologie de Charaudeau [2005: 41], elles sont au nombre de trois: l'authenticité, la vraisemblance et l'explication. Nous n'approfondirons pas ici le recours à ces procédés qui ne sont pas spécifiques au *fact-checking*, mais qui relèvent du discours journalistique en général. Il convient néanmoins de faire quelques remarques à leur propos. L'authenticité consiste à apporter des gages de vérité via l'objet. Les images, les chiffres et toutes sortes de documents y jouent un rôle prédominant. Ainsi, les articles de *fact-checking* sont de façon quasiment systématique accompagnés de documents infographiques. Les chiffres et autres statistiques sont censés produire de l'objectivité. Or, les chiffres ne sont qu'une forme d'apprehension du réel qui est nécessairement partielle. Quand ces chiffres sont saisis dans des éléments infographiques, la réduction du réel est d'autant plus importante:

Il s'agit d'une seconde transformation sémiotique, car les chiffres eux-mêmes sont alors iconisés. Ils sont perçus comme de belles images, souvent mises en valeur par une profusion de couleurs. Dans une certaine mesure, on peut dire que cette formalisation constitue un niveau supplémentaire de réduction de la réalité, car ces modélisations ne rendent compte qu'imparfaitement des résultats chiffrés pris en eux-mêmes [Bacot, Desmarchelier & Rémi-Giraud, 2012: 8].

La preuve de vraisemblance consiste, quant à elle, à opérer une sorte de reconstitution des faits en faisant appel à des témoignages, des reportages pour rétablir le déroulement de l'événement. Ce n'est pas le type de preuves le plus fréquent dans les articles de *fact-checking* dans la mesure où son degré d'objectivation est moindre: il repose notamment sur des témoignages, donc une autre forme de subjectivité. Enfin, le dernier type de preuve énuméré par Charaudeau (2005) est celui de l'explication, qui consiste à élucider les liens de cause à effet entre les faits. L'un des principes de l'explication est d'avoir recours à la parole de spécialistes, d'experts pour apporter des preuves dont le caractère scientifique et technique a pour objectif de rendre irréfutable

le raisonnement. Par exemple, à la question de savoir quel danger représentent les combattants de l'EI, le journaliste a recours à la parole d'experts:

22) *Experten des renommierten Stratfor Instituts in Austin, Texas, schätzten jüngst den harten Kern der IS-Kämpfer allein in Syrien auf 10.000 bis 20.000 Mann* (Janssen, *Der Spiegel*, 04/09/14).¹

La crédibilité de cette source est soulignée deux fois: le lexème *Expert-* désigne bien une instance qui dispose de l'autorité et de la légitimité nécessaires dans le domaine en question, l'adjectif *renommiert-* suggère que cet institut est reconnu par le plus grand nombre. Il paraît difficile dans ces conditions de remettre en question les chiffres avancés.

Tous les procédés évoqués ci-dessus sont communs à l'ensemble des productions journalistiques. Il convient à présent de s'attarder sur un procédé argumentatif spécifique du *fact-checking*, ou du moins qui s'y réalise avec une forte fréquence, à savoir l'argumentation véridictionnelle. Cette forme d'argumentation peut se rapprocher de la preuve d'authenticité évoquée plus haut, mais il ne s'agit pas de montrer des chiffres ou des images, mais de montrer les énoncés et de les qualifier de vrai: «La véridiction est cette opération de crédibilisation, qui relaye la vérité en la signalant comme vraie, qu'on soit sincère, sincère et trompé, ou trompeur insincère» [Schneider-Mizony, 2018: 150]. Autrement dit, l'argumentation véridictionnelle ignore la maxime de qualité de Grice² qui repose sur l'idée que le locuteur n'est pas censé dire quelque chose qu'il considère comme faux, ou pour laquelle il n'a pas assez de raisons de croire qu'elle est vrai. Dans le cadre de l'argumentation véridictionnelle, l'énoncé s'accompagne donc d'une glose qui authentifie ce qui est dit. Dans le *fact-checking*, ces éléments d'argumentation véridictionnelle sont généralement situés en ouverture d'énoncé et ont une portée cadrative. Du point de vue formel, ils contiennent des lexèmes dont le désigné renvoie à l'idée de fait, de vérité ou de réalité (*tatsächlich, faktisch, richtig ist, wirklich...*). Ainsi en (23), l'énoncé est objectivé et catégorisé en fait. Il pourrait être glosé par «ce qui est dit est un fait».

¹ Des experts du renommé Stratfor Institut à Austin au Texas ont dernièrement estimé le noyau dur des combattants de l'EI rien qu'en Syrie entre 10 000 et 20 000 hommes.

² « À la catégorie de qualité on peut rattacher la règle primordiale : «Que votre contribution soit véridique», et deux règles plus spécifiques : — «N'affirmez pas ce que vous croyez être faux.» — «N'affirmez pas ce pour quoi vous manquez de preuves» » [Grice, 1979 : 31].

23) Fakt ist: Die Bundespolizei zählte für 2016 mehr als 110.000 unerlaubte Einreisen und deren Versuche (Cieschinger, *Der Spiegel*, 15/03/18)¹.

Il en résulte que l'argumentation véridictionnelle peut recatégoriser un même énoncé pour le faire passer du statut d'opinion personnelle à celui de fait. L'occurrence suivante montre de façon explicite le travail de l'argumentation véridictionnelle. Un premier segment en avant-première position et à portée cadrative commente ce qui va être dit comme relevant d'un argument d'Angela Merkel. La chancelière justifie sa politique migratoire en invoquant des raisons humanitaires. Cet argument est reformulé et recatégorisé en fait par le segment *Fakt ist*. Autrement dit, la même information est une fois un énoncé objectif, puis un fait irréfutable. La conclusion qui s'impose est par conséquent que la chancelière a raison.

*24) Merkels erstes Argument: Die humanitäre Begründung. „Wir haben jetzt die Chance, das Leben von Menschen zu retten und weitere Massenmorde zu verhindern.“ Und: „Diese Chance müssen wir nutzen.“ Fakt ist: Der IS verübt im Irak willkürliche Hinrichtungen grausamster Art. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass seit Juni im Irak über 5.500 Menschen in der Folge der IS-Offensive getötet worden sind, etwa 600.000 Menschen befinden sich im Irak derzeit auf der Flucht. Dieses Argument ist stimmig: Ohne militärisches Eingreifen würde der IS diese Schreckensherrschaft wohl auch auf andere Gebiete des Irak ausdehnen. Zwischenzeitlich war etwa die Kurden-Metropole Arbil akut bedroht (Janssen, *Der Spiegel*, 04/09/14)*².

Un autre schéma argumentatif permis par le recours à l'argumentation véridictionnelle est celui de la concession. Le travail du *fact-checking* n'est pas toujours manichéen, et il est possible qu'un énoncé ne soit qu'en partie jugé comme vrai ou conforme à la réalité. Dans les occurrences (25) et (26), les éléments d'argumentation véridictionnelle *Richtig ist* sont corrélés à l'adverbe *doch*.

¹ C'est un fait : la police fédérale a comptabilisé pour 2016 plus de 110 000 entrées et tentatives d'entrées illégales sur le territoire.

² Le premier argument de Merkel : la justification humanitaire. « Nous avons à présent l'opportunité de sauver la vie d'êtres humains et d'empêcher des massacres supplémentaires ». Et : « Cette opportunité, nous devons la saisir ». C'est un fait : l'EI procède en Irak à des exécutions arbitraires des plus atroces. Les Nations-Unies supposent que depuis juin en Irak plus de 5 500 personnes ont été tuées à la suite d'attaques de l'EI, environ 600 000 personnes en Irak sont actuellement en fuite. Cet argument est correct.

25) Richtig ist, dass die deutschen Sicherheitsbehörden 700 Personen namentlich kennen, die hier lebten und sich auf den Weg in Richtung Syrien und Irak gemacht haben. Doch wie viele von ihnen mit dem Ziel, IS-Kämpfer zu werden, ausgereist und wie viele davon derzeit aktiv im Einsatz sind, weiß niemand genau (Hunger, Der Spiegel, 18/07/15)1.

26) Richtig ist: Die G20-Staaten wollen die Kapitalpolster für besonders große Institute wie die Deutsche Bank weiter erhöhen. Doch ob es wirklich so kommen und ob das Kapital dann reichen wird, ist offen (Janssen, Der Spiegel, 18/11/14)2.

Ainsi en (25), il s'agit de vérifier les propos du ministre de l'intérieur Thomas de Maizière qui affirme que 700 Allemands sont partis rejoindre les rangs de l'EI. Le journaliste sépare ce qui est considéré comme factuel (le départ de 700 personnes) de ce qui est considéré comme non-vérifiable (les intentions politiques de ces personnes). En (26), la chancelière allemande promet aux contribuables allemands de ne plus jamais devoir payer un sauvetage des banques. Le journaliste considère comme factuelle et donc vraie la mise en place d'un capital de secours plus élevé en cas de crise, mais considère la promesse de la chancelière comme non tenable. Les procédés de l'argumentation véridictionnelle montrent — malgré ce qu'ils affirment — que la preuve par le fait est impossible. Le «fait» médiatique est nécessairement une construction de la réalité par le langage. En revanche, la volonté de rendre factuelle la parole du *fact-checker* tend à montrer que la question de la légitimation ne se pose pas seulement du côté politique, mais également du côté médiatique.

La légitimation médiatique

Malgré l'ensemble des procédés mis en œuvre pour rétablir la vérité, l'impact du *fact-checking* dans la lutte contre la désinformation reste encore à prouver. Le *fact-checking* est parfois critiqué car les journaux qui le pratiquent sont considérés comme étant à la fois juge et partie. On peut penser ici à la polémique autour de l'outil

¹ Il est vrai que les services de sécurité allemands connaissent l'identité de 700 personnes, qui vivaient ici et qui se sont mises en route pour la Syrie ou l'Irak. Cependant personne ne sait précisément combien parmi elles sont parties avec l'intention de devenir des combattants de l'EI et combien parmi elles sont actuellement engagées activement.

² C'est vrai : les pays du G20 veulent encore augmenter les fonds de secours pour des institutions particulièrement importantes comme la Deutsche Bank. Cependant la question de savoir si les choses se passeront vraiment de la sorte et si ces fonds suffiront alors reste ouverte.

«Décodex» des *Décodeurs du Monde.fr* qui ont instauré un code couleur pour identifier le degré de crédibilité de certains sites d'information (voir [Schneidermann, 2017]). Cela revient à évaluer ses confrères avec qui le *Monde* est dans un rapport de concurrence économique. Par ailleurs, il ne s'agit pas, comme tel est le cas dans des questions sociétales, de présenter des points de vue différents représentés par divers journaux: le *fact-checking*, par sa volonté affichée de recourir aux faits, rend ce format non discutable. Sans entrer dans une polémique de ce genre, le *fact-checking* est fréquemment considéré comme inefficace dans la mesure où il ne combattrait que les symptômes de la désinformation et non leur source. C'est l'argument avancé par le journaliste Alexander Sängerlaub qui compare le *fact-checker* à un pompier qui doit éteindre un incendie sans eau¹. Il souligne par ailleurs le problème du public visé. Les lecteurs / spectateurs des médias pratiquant le *fact-checking* ne sont pas ceux qui sont le plus sujet à la désinformation. Froissart [2002: 17], filant la métaphore du pompier, précise que la presse peut jouer tantôt le rôle de l'incendiaire quand elle diffuse elle-même une infox, tantôt celui du pompier quand elle prétend rétablir la vérité, tantôt celui du pompier pyromane quand le rétablissement de la vérité n'est pas assez convaincant. Le *fact-checking*, en voulant rétablir une vérité, contribue par conséquent à répandre la désinformation. Des études sur le démenti des fausses nouvelles (voir [Kapferer, 1990] tendent à montrer que le rétablissement d'une vérité par voie de presse peut avoir surtout pour effet de diffuser la fausse information². Tous ces éléments permettent de demeurer sceptique quant à l'utilité du *fact-checking* dans la lutte contre la désinformation. Le fait que les médias le pratiquent de manière pourtant croissante tend à montrer que les buts poursuivis peuvent être autres.

Nous postulons, en effet, que le *fact-checking* n'a pas pour seul but d'arbitrer des questions de légitimité politique, mais qu'il participe

¹ « Die Bekämpfung der eigentlichen Ursachen für Desinformationskampagnen sollte mehr ins Zentrum rücken, als zu versuchen, die Symptome zu verringern » [Sängerlaub 2018 : 23] [La lutte contre les causes réelles à l'origine des campagnes de désinformation devrait devenir une priorité plutôt que de chercher à réduire les symptômes].

² À titre d'exemple : à la suite d'une rumeur selon laquelle l'actrice Isabelle Adjani serait atteinte d'une grave maladie, cette dernière vient en personne faire un démenti dans le journal de 20 H de TF1 le 18 janvier 1987. Avant le démenti, 26 % de la population avait connaissance de la rumeur. Parmi ces personnes 23 % la tenait pour vraie. Après le démenti, ce sont désormais 85 % des Français qui sont au courant de la rumeur. Parmi eux, 27 % continuent à y croire [cf. Kapferer, 1990 : 109-110].

de la construction de la légitimité médiatique. Effectivement, pour pouvoir arbitrer un conflit de légitimité politique, un média doit lui-même posséder un certain degré de crédibilité. Cela explique le fait que le *fact-checking* soit un processus ostentatoire qui met en scène la vérification journalistique. Ce qui est à l'origine un travail inhérent au journalisme — le fait de vérifier les sources, les chiffres — est mis en scène et constitue pour ainsi dire la trame de l'article. Cette mise en scène participe de l'argumentation: «Au demeurant, la mise en scène n'est pas à dédaigner, elle renforce la visibilité argumentative, tout comme elle donne corps à la démarche critique des auteurs» [Rabatel, 2014: 113]. Ce que Rabatel affirme ici à propos de la rubrique *Désintox* de *Libération*, vaut également pour le *Faktencheck* du *Spiegel*. L'enjeu pour le *fact-checker* est de faire voir le travail du journaliste et ainsi d'affirmer sa légitimité dans le contexte de multiplication des locuteurs dans l'espace public. À l'heure où n'importe quel locuteur peut prétendre diffuser de l'information via les réseaux sociaux, le journaliste doit s'assurer une crédibilité supérieure. Le *fact-checking* est donc avant tout une scénographie qui permet de réorganiser l'information et de bouleverser les pratiques journalistiques. Le *fact-checking* permet, en effet, de déplacer le noyau informatif des articles vers la fin (le fameux *Fazit* qui constitue un horizon d'attente pour le lecteur). Cette structuration qui dévoile l'information de façon progressive s'éloigne du principe très répandu de la pyramide inversée¹ qui concentre généralement l'information en début d'article. Cette forme, qui explique la présence des interrogatives dans la titraille, est particulièrement adaptée à la diffusion sur internet à une époque où les ressources financières des journaux dépendent en grande partie du nombre de clics et de partages. Par ailleurs, cette forme de scénographie est également mise en œuvre hors du domaine du journalisme politique². D'après Bigot, la pratique du *fact-checking* constitue une réponse à une crise de confiance envers les médias:

¹ « [...] eine Metapher, die anschaulich machen soll, dass das Wichtige, der Informationskern, der Höhepunkt an den Anfang gehört (climax first), erst danach werden Einzelheiten und allgemeine Informationen mitgeteilt » [Weischenberg 2001 : 79] [une métaphore, qui illustre le fait que ce qui est important, le noyau informatif, les points clés, est au début (climax first), ce n'est qu'ensuite que sont communiqués les détails et les informations générales].

² Le *fact-checking* concerne de façon prototypique, mais non exclusive, le domaine politique. On trouve des articles de *fact-checking* sur des sujets de société, de consommation ou encore sur des fictions, comme le *Tatort-Faktencheck* qui vérifie la vraisemblance de faits apparaissant dans la série policière allemande *Tatort*.

Ils sont engagés, selon nous, dans un processus de vérification ostentatoire destiné à créer, de fait, une sorte de label pour le travail de l'ensemble des rédactions concernées: «Chez nous, nous vérifions» [Bigot, 2018: 72].

Pratiquer le *fact-checking* consiste donc à montrer un certain gage de professionnalisme et fonctionne comme un label de qualité qui apporte un certain crédit à l'ensemble du journal. Ainsi, le *fact-checking* dépasse la question de l'*ethos* du journaliste qui vérifie les informations pour devenir un élément constitutif de l'identité du journal.

Conclusion

Le cas du *fact-checking* nous a permis de considérer une forme relativement récente et spécifique de (dé-)légitimation médiatique. Cette question de la légitimation y est posée à la fois sur le plan politique et sur le plan communicationnel. Sur le plan politique, il s'agit de remettre en cause la légitimité de certains acteurs en tant que locuteurs de la scène politique: ce ne sont pas les actes, mais toujours des affirmations qui font l'objet d'un jugement. Ce jugement de légitimité se fait dans le cadre d'un dispositif au sein duquel le *fact-checker* joue le rôle d'un tiers juge-arbitre. Sur le plan communicationnel, cette triangularité accorde le beau rôle au *fact-checker* dont la parole apparaît comme experte. Le dispositif ostentatoire du *fact-checking* qui donne à voir le travail de vérification du journaliste lui permet d'affirmer sa légitimité par rapport à ses concurrents, mais également par rapport aux multiples locuteurs de l'espace public, et notamment des réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de politique ou de communication, la légitimité est une construction qui possède nécessairement une dimension discursive.

Bibliographie

Aristote (2011). *Rhétorique* [1931], (Tome I, Livre I, M. Dufour, trad.), Paris: Les Belles Lettres.

Bacot, P., Desmarchelier, D. & Rémi-Giraud, S. (2012). Le langage des chiffres en politique, *Mots. Les langages du politique*, 100, pp. 5-14.

Bigot, L. (2017). Le *fact-checking* ou la réinvention d'une pratique de vérification, *Communication & langages*, 192(2), pp. 131-156.

Bigot, L. (2018). Rétablir la vérité via le fact-checking: l'ambivalence des médias face aux fausses informations, *Le Temps des médias*, 30, pp. 62-76.

- Charaudeau, P. (2004). *La voix cachée du tiers. Des non-dits du discours*, Paris: L'Harmattan.
- Charaudeau, P. (2005). *Les médias et l'information: l'impossible transparence du discours*, (Collection Médias recherches, Série Études), Bruxelles: De Boeck.
- Dogan, M. (2010). La légitimité politique: nouveauté des critères, anachronisme des théories classiques, *Revue internationale des sciences sociales*, 196 (2), pp. 21-39.
- Froissart, P. (2002). *La rumeur: histoire et fantasmes*, (Collection Débats), Paris: Belin.
- Grice, H. P. (1979). Logique et Conversation, (F. Berthet et M. Bozon, trad.), *Communications*, 30, pp. 57-72.
- Guerrini, F. (2013). From traditional to online fact-checking, *Oxford Magazine*, Eighth Week, Trinity Term, pp. 5-7.
- Kapferer, J.-N. (1990). Le contrôle des rumeurs, *Communications*, 52, pp. 99-118.
- Moeschler, J., Auchlin, A. (2000). *Introduction à la linguistique contemporaine* [1997], (Collection cursus Lettres), Paris: Colin.
- Moreau de Bellaing, L. (1983). *L'un sans l'autre: la légitimation du pouvoir*, Paris: Editions Anthropos.
- Norris, P. (dir.) (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic*, Oxford: Oxford University Press.
- Rabaté, A. (2014). La rubrique Intox / désintox de *Libération*. Nouvelle rubrique, nouvelle pratique journalistique, voire nouveau genre?, (M. Monte & G. Philippe (dir.)), *Des textes aux genres*, Lyon: Presses universitaires de Lyon, pp. 103-116.
- Sangerlaub, A. (2018). Feuerwehr ohne Wasser? Möglichkeiten und Grenzen des Fact-Checkings als Mittel gegen Desinformation», *Stiftung neue Verantwortung*. URL: <https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/feuerwehr-ohne-wasser-moeglichkeiten-und-grenzen-des-fact-checkings-als-mittel-gegen> (consulté le 2 octobre 2018).
- Schneider, St. G. (2008). La légitimité des systèmes politiques, l'espace public et les médias: Une étude comparée des discours de légitimation en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse, *Politique et Sociétés*, 27(2), pp. 105-136.
- Schneider-Mizony, O. (2018). L'argumentation vérificationnelle, *Nouveaux Cahiers d'allemand*, 2, pp. 149-153.
- Silvermann, C. (2010). Inside the World's Largest Fact Checking Operation, *Columbia Journalism review*, URL: <https://archives.cjr.org>.

org/behind_the_news/inside_the_worlds_largest_fact.php?page=al
(consulté le 2 octobre 2018).

Weber, M. (1922). Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, *Preußische Jahrbücher*, 187, pp. 1–12.

Weischenberg, S. (2001). *Nachrichten-Journalismus: Anleitungen und Qualitäts-Standards für die Medienpraxis*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Liste bibliographique des exemples

Cieschinger A. (2018), «Hat Uwe Tellkamp Recht — oder nicht?», *Der Spiegel* (15 mars 2018).

Hagen K. (2015), «Die große Verwirrung um die Flüchtlingszahlen», *Der Spiegel* (2 septembre 2015).

Hecking C. (2018), «Ist Deutschland ein „Gefangener Russlands“?», *Der Spiegel* (11 juillet 2018).

Hunger B. (2015), «700 IS-Kämpfer aus Deutschland?», *Der Spiegel* (18 juillet 2015).

Janssen H. (2014a), «Merkel und der „Islamische Staat“», *Der Spiegel* (4 septembre 2014).

Janssen H. (2014b), «Merkel täuscht die Deutschen», *Der Spiegel* (18 novembre 2014).

Janssen H. (2014c), «Wenn alte Männer gegen die Frauenquote zicken», *Der Spiegel* (28 novembre 2014).

Janssen H. (2015a), «Gibt es eine „Lügenpresse“?», *Der Spiegel* (15 janvier 2015).

Janssen H. (2015b), «Die Maut-Lüge», *Der Spiegel* (11 mai 2015).

Janssen H. (2015c), «Mehr Karrierefrauen, mehr Kinder», *Der Spiegel* (31 juillet 2015).

Janssen H. (2015d), «Sind unsere Wahlen repräsentativ?», *Der Spiegel* (9 septembre 2015).

Kaleta Ph., Reimann A. & Weiland S. (2016), «Die AfD-Positionen zum Islam im Faktencheck», *Der Spiegel* (18 avril 2016).

Meiritz A. & Schlossarek M. (2017), «Nein, Angela Merkel verschweigt keinen geheimen Flüchtlingsplan», *Der Spiegel* (14 mars 2017).

Reimann A. (2015), «Ist der Osten fremdenfeindlicher als der Westen?», *Der Spiegel* (1^{er} septembre 2015).

Schneidermann D. (2017), «Decodex décodé», *Libération* (5 février 2017).

Schultz St. (2018), «Kann man den Tagebau Hambach stilllegen?», *Der Spiegel* (18 septembre 2018).

«Факт-чекинг»: арбитр в деле легитимности слова?

Проверка фактов, или «факт-чекинг», — один из жанров так называемой журналистики контроля. Появившись в 20-х гг. XX в. в США в качестве рутинной практики проверки дат, имен и цифр, упоминающихся в статье, перед ее публикацией, в цифровую эпоху проверка фактов приобрела новое — дискурсивное — измерение. Она стала своеобразным орудием, которое может быть одновременно использовано для делигитимации политических сил, решений и при этом служить легитимации самого медиаактора (журналиста, издания или медиахолдинга, который он представляет).

Цель — показать дискурсивную природу практики проверки фактов, раскрыв действующие при этом лингвистические механизмы (де)легитимации.

Обсуждаемый жанр набирает популярность в странах Европы, поэтому в качестве материала исследования используется корпус статей, опубликованных в период с 2014 по 2018 г. в известном издании «Шпигель», которое претендует на статус еженедельника с самым большим штатом журналистов, профессионально занимающихся проверкой фактов.

Отмечается, что анализируемый жанр чрезвычайно полифоничен. Он отражает интеракцию, как правило, трех коммуникантов: один из них сообщает информацию, которая становится предметом обсуждения, другой — ставит ее под сомнение, а третий журналист, беря на себя функцию своеобразного медиатора, разрешает вопрос о «правдивости» сообщаемого.

Объектами подобного медиаспора, в котором журналист играет роль арбитра, в 70 % проанализированных случаев становятся утверждения, мнения ассертивного характера, высказываемые конкретными политическими деятелями. 20 % статей сфокусированы на обещаниях, которые известные политические лидеры давали в рамках тех или иных кампаний. В 10 % статей обсуждаются высказывания из анонимных источников (слухи, посты в социальных сетях), которые, тем не менее, оказываются озвучены кем-то из медиаперсон.

Дискурсивная специфика обсуждаемого жанра состоит в том, что журналист пытается сконструировать антитезу: «субъективность», воплощаемая высказываниями, мнениями политиков или медиаперсон, противопоставлена «объективности» фактов и доводов, артикулируемых журналистом. Однако и то,

и другое — не что иное, как дискурс. Чтобы быть убедительным, медиапрофессионал опирается на три категории: истинность (использует факты, цифры, инфографику), правдивость (привлекает свидетельства, интервью, репортажи с места событий и т. д.), наконец, объяснительную силу тексту журналиста придает привлечение экспертов, ученых, специалистов необходимого профиля. Но у дискурсивной практики проверки фактов есть к тому же своя аргументативная стратегия, которая состоит в помещении объективной информации с самого начала ее введения в контекст высказывания в особую дискурсивную рамку «правдоподобности» при помощи соответствующих лексем и дискурсивных маркеров фактуальности.

Будучи рассмотрена в аспекте медиадискурса, практика проверки фактов обнаруживает свою скрытую сущность — она служит конструированию статуса «авторитетности» издания, медиаплатформы, самого журналиста, поскольку в массовом сознании именно они предстают гарантами истинности информации в нестабильном мире «больших данных» и множества информационных потоков. Исследователь заключает, что факт-чекинг является инструментом легитимации акторов на медиарынке, поскольку его основное предназначение — позиционировать их как единственные источники информации, заслуживающие доверия.

2.2. La question de la légitimation des derniers événements politiques en Catalogne

Tout au long du XIX^e siècle le nationalisme s'est imposé pour revendiquer que l'existence d'une nation indivisible justifie le monopole du pouvoir politique sur un territoire donné. Toutefois, avec la mondialisation économique et plus particulièrement l'internationalisation du politique nous avons assisté au cours du XX^e siècle à l'avènement d'un mouvement régionaliste qui remet en cause la légitimité de l'Etat-nation. Les exemples de remise en question du rôle, voire de l'existence, de l'Etat-nation se multiplient en Europe occidentale: Belgique (Flandre), Royaume Uni (Ecosse), Italie (Lombardie, Vénétie) et Espagne (Catalogne, Pays Basque).

Le sentiment régionaliste a été vivement présent tout au long de l'histoire de l'Espagne et demeure fortement ancré dans la mentalité

collective de sa population notamment dans certaines régions où il a évolué vers un mouvement identitaire, voire séparatiste. Tel est le cas de la Catalogne, qui sera l'objet d'étude de cette contribution.

Au fil des années, nous avons pu noter une certaine constance dans ce désir d'autonomie des Catalans qui s'est tout de même exacerbé au cours de ces huit dernières années. En effet, les Catalans ont très mal vécu l'annulation, en 2010, par la Cour constitutionnelle espagnole d'une partie-clé du nouveau statut d'autonomie qui leur conférait une autonomie élargie et le statut de nation. Dès lors, la Catalogne a vécu une transformation politique majeure: une large majorité de Catalans a rejeté l'idée d'une lutte séculaire pour l'autonomie politique et s'est prononcée en faveur de la tenue d'un référendum sur l'indépendance. La crise politique en Catalogne s'est transformée en un problème majeur en Espagne, avec de nombreux incidents qui se sont produits, radicalisant davantage encore la revendication d'indépendance. Nous nous attacherons à présenter, dans cette contribution, les derniers événements politiques qui ont eu lieu en Catalogne depuis 2010 et nous nous poserons la question de leur légitimation. Ces événements ont-ils provoqué la perte de légitimité du gouvernement central et donc de l'Etat espagnol? Quel est le rapport entre légalité et légitimité de ces événements? Il est important de préciser que nous exposerons le processus indépendantiste catalan uniquement depuis les facteurs de légitimation vs délégitimation qui opposent deux instances politiques: le gouvernement central et le gouvernement autonome. La question des opinions divergentes au sein de l'Espagne et en particulier en Catalogne où les avis sont partagés entre les citoyens d'une part et les partis politiques d'autre part ne sera donc pas abordée. Mais avant de tenter de répondre à nos interrogations, une brève remise en contexte du processus autonomiste en Catalogne s'impose.

La question de l'autonomie en Catalogne n'est pas nouvelle. En effet, au cours du XXème siècle (pour ne centrer notre étude que sur la période contemporaine), la région a expérimenté trois formes d'autonomie successives.

La première, *la Mancomunitat de Catalunya* (qui n'est autre qu'une institution qui regroupe les quatre institutions provinciales catalanes: les *Diputaciones* de Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone), a existé mais de façon éphémère entre 1914 et 1923. Avec la mise en place de la dictature de Primo de Rivera, période durant laquelle l'évolution a rapidement été anti-régionaliste, la *Mancomunitat* a été suspendue car elle était considérée comme dangereuse pour l'unité nationale espagnole.

Par la suite, avec la démission de Primo de Rivera en 1930 et la fin de la monarchie, et grâce à la victoire des républicains aux élections, la Seconde République est proclamée en 1931. La vivacité des aspirations régionalistes, surtout présentes dans le Nord de l'Espagne (Catalogne et Pays basque notamment), se voit amplifiée. L'avènement de la Seconde République et la rédaction de sa Constitution permettent d'établir un modèle d'Etat régional, en accordant une certaine autonomie à quelques régions déterminées dont la Catalogne.

Le Parlement catalan a voté un statut d'autonomie catalan en 1932 dont l'objectif fondamental était de négocier une autonomie catalane au sein d'une République espagnole unitaire. Cependant deux ans plus tard, en 1934, suite à la décision du président du gouvernement autonome catalan (*la Generalitat*) de proclamer de façon unilatérale «la République catalane comme Etat», le pouvoir central décrète la suspension du statut d'autonomie (avant son abolition définitive en avril 1938). Mais, l'expérience de ce nouveau régime républicain, après avoir connu de nombreuses difficultés dans sa mise en oeuvre, a été compromise par des événements politiques ultérieurs: trois années de guerre civile (de 1936 à 1939) qui ont marqué le début du franquisme: un régime dictatorial qui a duré près de 40 ans (1939-1975). Une politique anti-régionaliste et centralisatrice a été imposée: seule l'unité de l'Etat était revendiquée et l'Espagne a perdu de ce fait ses acquis en matière d'autonomie afin de s'assurer de sa grandeur sous le signe d'une «Espagne, une, grande et libre». Le Général Franco anéantit non seulement la démocratie mais il met aussi un terme à toute velléité autonomiste, notamment en Catalogne où il élimine les élites catalanes, où il réduit de manière drastique le particularisme culturel de la région (disparition du catalan et interdiction de danser la sardane) et enfin où il tente de ralentir son développement économique au profit d'autres régions. Il utilise le totalitarisme et l'autoritarisme pour annuler l'autonomie de la Catalogne en abrogeant son statut d'autonomie dès avril 1938. A la mort du dictateur Franco, le 22 novembre 1975, les aspirations régionalistes sont à nouveau permises, d'ailleurs le franquisme peut être considéré comme un élément fondamental de l'exacerbation des sentiments régionaux, nationalistes voire indépendantistes. Le roi Juan Carlos Ier (successeur désigné par le Général Franco) engage alors de manière progressive le pays sur la voie de la transition démocratique et au cours de cette période, le problème de la structure de l'Etat espagnol est au centre des préoccupations des responsables politiques. Libéraliser le régime, cela signifie admettre et reconnaître l'existence

d'un modèle d'Etat régional, la solution fédéraliste étant repoussée et la formule d'un Etat unitaire et centralisé étant condamnée. Dès lors, l'Etat espagnol se dirige progressivement vers un régime «régional pré-autonome»¹ [Moderne & Bon, 1981: VII], institué par plusieurs décrets-lois dans l'attente de l'approbation définitive, à la fin de l'année 1978, du texte constitutionnel.

C'est au cours de la période de transition post-franquiste que la Catalogne a connu sa troisième et actuelle forme d'autonomie. Cette région (ainsi que le Pays Basque et la Galice unis par une identité marquée par une langue et une histoire différentes des régions centrales) a joué le rôle de locomotive dans l'évolution de l'Etat des Autonomies. Une nouvelle autonomie pour la Catalogne est envisagée et le président du gouvernement autonome catalan (Josep Tarradellas), en exil jusqu'alors, rentre en Espagne. Le processus mis en place pour la Catalogne (dotée d'un régime de pré-autonomie au mois d'avril 1977) est appliqué à d'autres régions et la décision de généraliser ce concept de pré-autonomies a abouti, dans la géographie politique de la nation espagnole, à la redistribution des cinquante provinces existantes en dix-sept Communautés autonomes.

Avec l'approbation de la Constitution en décembre 1978 nous pouvons dire que l'Espagne a inauguré une nouvelle phase de son histoire en créant un modèle éclectique de forme d'organisation territoriale de l'Etat, qui combine à la fois des éléments typiques d'un Etat unitaire et d'un Etat fédéral. En effet, tout en maintenant la structure unitaire de l'Etat, la Constitution espagnole reconnaît dans son article 2² le droit à l'autonomie des régions mais pas à leur indépendance, au nom du principe d'unité indissoluble de la Nation. De ce fait, le texte constitutionnel «n'établit aucun modèle concret d'organisation politico-territoriale de l'Etat espagnol, sa concrétisation et son développement ultérieur reviennent aux forces politiques post constitutionnelles et sont renvoyés à d'autres normes infra constitutionnelles, telles que les statuts d'autonomie» [Rodés Mateu, 2010: 2].

Comme la Catalogne (tout comme le Pays basque et la Galice), avait été autonome sous la Seconde République, elle a donc eu un accès

¹ Cette expression avait employée par Eduardo García de Enterría dans la préface, p. VII, *Les Autonomies régionales dans la Constitution espagnole*, F. Moderne et P. Bon, Economica, 1981.

² Article 2 de la CE: La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.

direct à l'autonomie¹ qui s'est concrétisé par l'approbation d'un statut d'autonomie en 1979.

Chaque collectivité autonome peut se doter d'un statut d'autonomie spécifique parfaitement adapté à sa nature puisqu'il s'agit d'une norme négociée entre la Communauté autonome et l'État central. La Constitution, dans son article 81 alinéa 1², désigne un statut d'autonomie comme une Loi Organique (qui émane du Parlement espagnol) pour finalement devenir une norme fondamentale, au sens juridique du terme, étant donné qu'il joue le rôle de norme institutionnelle de base au sein de la Communauté autonome concernée; mais également au sens politique du terme vu que les relations entre les Autonomies et l'Etat sont basées aussi bien sur la Constitution que sur les textes statutaires. C'est un cadre juridique qui s'applique au sein des Communautés autonomes puisqu'il constitue juridiquement la Communauté autonome

Le statut d'autonomie catalan a été approuvé par référendum le 25 octobre 1979 puis par le Parlement national (*las Cortes generales*) le 13 novembre et promulgué en tant que Loi Organique de l'Etat espagnol 4/1979 le 31 décembre 1979. Il définit, entre autres, l'organisation des institutions autonomes propres et détermine le niveau de compétences conformément au cadre établi par la Constitution (article 147 alinéa 2³). La Communauté autonome catalane, pour donner un aperçu toutefois incomplet, dispose (conformément à l'article 148 de la Constitution qui énumère les compétences que pourront assumer les Communautés autonomes) de compétences en matière d'organisation territoriale, de justice, de maintien de l'ordre public, ainsi que différents pouvoirs en matière sociale ou culturelle. En effet, en matière d'organisation territoriale administrative, la région est dotée d'un parlement (*el Parlament de Catalunya*) et d'un gouvernement (*la Generalitat*) qui lui sont propres, et en matière de justice, il existe le Tribunal supérieur de justice. Le statut reconnaît à la Catalogne de très nombreuses

¹ Les autres régions ont obtenu leur autonomie par une voie plus lente.

² Article 81.1 de la CE: Les lois relatives au développement des droits fondamentaux et des libertés publiques, à l'approbation des statuts d'autonomie et au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.

³ Article 147.2 de la CE: Les statuts d'autonomie doivent contenir: a) le nom de la communauté qui correspond le mieux à son identité historique; b) la délimitation de son territoire; c) le nom, l'organisation et le siège des institutions autonomes propres; d) les compétences assumées dans le cadre établi par la Constitution et les règles de base pour le transfert des services correspondant à ces compétences.

compétences dans les domaines de la santé, des prisons, des services sociaux, de la gestion des musées et bibliothèques, de l'enseignement... La Communauté dispose également de sa propre police et deux langues sont reconnues comme officielles: l'espagnol (ou castillan) et le catalan. Enfin, il est intéressant de préciser que le système de répartition des compétences mis en place par la Constitution n'est pas contraire aux intérêts de l'Etat espagnol puisque sont établies, dans l'article 149, les compétences exclusives de l'Etat et des compétences dites partagées pour lesquelles la Communauté doit exécuter les dispositions de l'Etat.

Les compétences attribuées aux Communautés autonomes peuvent faire l'objet de modifications ultérieures afin de prendre en considération l'évolution de la situation locale et l'expérience acquise. La Constitution prévoit donc la possibilité d'évolutions ultérieures en créant un cadre souple puisque son article 148 alinéa 2 autorise les Communautés autonomes à élargir leurs compétences passé un délai de cinq ans. L'organisation de l'Etat des autonomies n'est pas figée, il est au contraire fondamentalement évolutif en raison notamment d'une généralisation des revendications autonomistes dans la quasi-totalité des Communautés autonomes. Paradoxalement, la Catalogne, une région où la tradition autonomiste est pourtant fortement ancrée de par son caractère différencié, a tardé à amorcer la procédure de réforme de son statut d'autonomie (datant de 1979). Ceci peut s'expliquer entre autres par la présence pendant huit ans (de 1996 à 2004) du parti politique libéral-conservateur, (le Parti Populaire ou *Partido Popular*, PP) à la tête du gouvernement espagnol, c'est pourquoi, en 2004, le président du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (*Partido Socialista Obrero Español*, PSOE) José Luis Rodríguez Zapatero invite les leaders catalans à s'engager dans un processus de réforme statutaire. L'ensemble des partis politiques catalans, à l'exception du *Partido Popular* (PP) participent à l'élaboration d'une nouvelle norme statutaire. Après un débat tumultueux, la Catalogne fait approuver par son propre Parlement puis par le Parlement espagnol (après la suppression de quelques éléments essentiels) et enfin ratifier par ses citoyens (par l'intermédiaire d'un référendum le 18 juin 2006) un nouveau statut d'autonomie (*l'Estatut d'Autonomia de Catalunya*). Promulgué par le roi et publié en tant que Loi Organique 6/2006 le 19 juillet il entre en vigueur le 9 août 2006.

Cette nouvelle norme statutaire précise le texte initial de 1979, très généraliste, et dont certaines compétences n'ont pas pu être assumées par la Communauté. Nous évoquerons ici les points les plus importants pour notre démonstration. Dans son préambule,

le nouveau statut définit, dans le respect de la volonté du Parlement et des citoyens catalans, la Catalogne comme une nation, le titre préliminaire reconnaît la Catalogne comme une *nacionalidad* c'est-à-dire la «nationalité» comme essence d'une nation ainsi légitimée; le titre premier est consacré aux droits, devoirs et principes recteurs, le deuxième titre concerne les institutions et le troisième le pouvoir judiciaire; le quatrième titre établit les compétences de la Communauté; le cinquième titre s'intéresse aux relations du gouvernement catalan avec l'État et les autres Communautés autonomes, ainsi qu'avec l'Union européenne; le titre six aborde la question du système de financement; et enfin, le septième titre est dédié à la réforme de la procédure de réforme statutaire.

L'approbation de ce nouveau texte statutaire met fin à un processus engagé plus de deux ans plus tôt mais qui va échouer puisque le texte est en partie censuré quatre ans plus tard, en 2010, par le Tribunal Constitutionnel (interprète suprême de la Constitution) qui, saisi par le Parti Populaire refuse de valider certains articles (14 sur les 223 au total). Il est notamment reproché au nouveau texte statutaire de dépasser le champ des compétences prévu par la Constitution; le Tribunal Constitutionnel accorde une dimension historique et culturelle et non juridique au concept de «nation catalane» et censure la définition du catalan comme langue à caractère préférentiel (tout en reconnaissant malgré tout son caractère obligatoire pour l'enseignement). Dès lors, les sentiments autonomistes n'ont cessé de se renforcer au sein de la population catalane qui s'est sentie trahie, et qui a très mal vécu l'annulation par la Cour constitutionnelle espagnole d'une partie-clé du nouveau statut d'autonomie. Les revendications catalanes sont progressivement passées d'une autonomie négociée, à une forte volonté d'indépendance¹. Dès le mois de juillet 2010, soit deux semaines à peine après la décision du tribunal, près d'un million de personnes défilaient à Barcelone en clamant «Nous sommes une nation, c'est à nous de décider»². Un nouveau gouvernement autonome, présidé par Artur Mas (du parti politique centriste catalaniste Convergence démocratique de Catalogne, *Convergència Democràtica de Catalunya*) est élu en novembre 2010 et les responsables politiques catalans s'engagent à suivre

¹ «Si l'autonomie n'a plus d'évolution possible dans le cadre constitutionnel espagnol ne reste plus que la seule voie de l'indépendance ». Michel Martínez Pérez, Maître de Conférences en espagnol et catalan, Revue Caractères Sciences Po Toulouse, 2017.

² Devise de la manifestation qui s'est tenue à Barcelone le 10 juillet 2010

l'évolution du processus d'indépendance de près. En pleine période de crise économique, Artur Mas propose au gouvernement central un nouveau pacte budgétaire avec l'État qui vise à mettre un terme au flux continu de fonds provenant de la Catalogne et destinés au gouvernement central. Mais à ce moment, le sentiment d'exaspération des Catalans dépasse largement l'aspect financier, et les aspirations indépendantistes, sont en train de devenir majoritaires. C'est pourquoi le 11 septembre 2011, la majorité des Catalans manifestent à l'occasion de la Fête nationale de la Catalogne (*la Diada*) c'est le point de départ du processus d'indépendance qui dès lors s'inscrit dans la durée puisque a suivi une série de mobilisations pour le droit de décider.

Trois ans plus tard, en 2014, suite au vote au sein du Parlement régional d'un texte déclarant que la Catalogne est libre de décider de son avenir en toute souveraineté, Artur Mas, s'engage à organiser un référendum sur l'indépendance catalane le 9 novembre, un processus popularisé sous le nom de «9-N». Il est légitime et juridiquement possible¹ que le gouvernement catalan organise un référendum sur l'autodétermination étant donné que d'une part la législation catalane en vigueur l'autorise² et qu'il peut, d'autre part, s'appuyer sur une loi sur les consultations politiques (approuvée à l'automne 2013). Mais dans ces deux cas de figure, l'État central peut contester la loi ou son application devant le Tribunal constitutionnel [Boix & Major, 2013: 37]: et c'est ce que fait le gouvernement central lorsqu'il saisit le Tribunal constitutionnel qui suspend (le temps d'examiner si cette consultation populaire respecte la Constitution) cette décision. Malgré tout Artur Mas décide du maintien d'un référendum mais uniquement consultatif, ce qui représente un acte symbolique sans valeur légale. Artur Mas est condamné à une amende et se voit dans l'interdiction d'exercer une fonction publique élective pour deux ans. Cet événement marque une véritable rupture dans les relations entre l'Etat central et la Communauté autonome même s'il est vrai que le gouvernement national a toujours refusé le dialogue sur la question de l'indépendance catalane en se référant à la légalité du texte constitutionnel qui prône l'unité indissoluble de la nation espagnole

¹ Selon un avis rendu en 2010 par la Cour internationale de justice (CIJ), le droit international n'interdit pas le droit à l'autodétermination tant que celui-ci est exercé par des moyens pacifiques et démocratique et ne survient pas en violation d'une norme impérative de droit international. En effet, l'indépendance est déclarée par des acteurs politiques légitimes, car investis d'un mandat démocratique, et par moyens non violents.

² En vertu de la loi la loi catalane du 6 septembre 2017.

[Otaola & Bory, 2016: 14] et accuse par conséquent l'illégalité des actions indépendantistes.

En septembre 2015, lors de nouvelles élections législatives anticipées¹, les indépendantistes obtiennent la majorité parlementaire et ont pour objectif de créer la république catalane indépendante l'année suivante.

Carles Puigdemont (membre du Parti démocrate européen catalan, PDeCAT) est investi en janvier 2016 de la fonction de président du gouvernement autonome catalan (la *Generalitat*) et face au bras de fer qui est engagé contre le pouvoir central depuis de nombreux mois, il prend la décision (en accord avec la coalition indépendantiste au pouvoir) de se lancer dans un processus de sécession unilatéral.

En juin 2017 il annonce, en tant que dirigeant du mouvement indépendantiste catalan, la tenue d'un référendum d'autodétermination pour le 1^{er} octobre. L'organisation de ce référendum résulte de l'alliance de trois partis politiques indépendantistes mais aux sensibilités différentes: le PDeCAT (le parti de centre droit de Carles Puigdemont) issu de CiU (Convergence et Union, *Convergencia i Unio* de Jordi Pujol), ERC (la Gauche républicaine de Catalogne, *Esquerra Republicana de Catalunya*, un parti de centre gauche et la CUP (Candidature d'unité populaire, *Candidatura de Unidad Popular*), une formation révolutionnaire d'extrême gauche. Ces trois partis ont remporté la majorité des sièges au Parlement et se sont donc assurés une légitimité vis-à-vis des électeurs catalans. Deux mois plus tard, le Parlement catalan approuve le projet de loi sur le référendum par le vote de la loi catalane du 6 septembre 2017 qui encadre l'organisation du référendum du 1er octobre, qui définit le peuple catalan comme «*sujet souverain*»² et qui déclare le référendum contraignant, quel que soit le taux de participation. Le chef du gouvernement espagnol (depuis 2011) et membre du Parti populaire Mariano Rajoy demande au Tribunal Constitutionnel de déclarer la nullité de cette loi. Mais «une large majorité de Catalans a rejeté l'idée d'une lutte séculaire pour l'autonomie politique et s'est prononcée en faveur de la tenue de ce référendum sur l'indépendance» [Boix & Major, 2013: 46]. Le référendum sur l'autodétermination de

¹ En raison de l'interdiction du pouvoir central de tenir le référendum sur l'indépendance, le gouvernement catalan a eu recours à de nouvelles élections législatives anticipées.

² Article 2 de la Loi 19/2017: Le peuple catalan est un sujet politique souverain et, en tant que tel, exerce le droit de décider librement et démocratiquement leur condition politique.

la région a bien lieu le 1er octobre 2017 malgré l'arrestation quelques jours auparavant de quatorze responsables du gouvernement indépendantiste catalan, en dépit de l'absence d'autorisation du gouvernement central et contre la décision de la Cour Constitutionnelle.

Lors de ce scrutin les Catalans se prononcent massivement en faveur de la reconnaissance de la Catalogne comme état indépendante sous la forme d'une République. Le gouvernement central ne reconnaît pas ce scrutin et le considère comme un acte de désobéissance au regard de la Constitution, Mariano Rajoy envisage la destitution du chef du gouvernement catalan et invoque l'article 155 alinéa 11 de la Constitution espagnole, qui lui permet de mettre sous tutelle une communauté autonome en cas de non-respect de la Constitution ou d'atteinte grave à l'intérêt général. La crise politique en Catalogne devient un problème majeur en Espagne, avec de nombreux incidents qui se produisent, radicalisant davantage encore la revendication d'indépendance et témoignant d'une perte de légitimité du gouvernement central. La légitimité relevant de l'acceptation de l'autorité par ceux sur lesquels elle est exercée, nous pouvons affirmer que les violences qui ont émaillé le référendum du 1er octobre ont fini de fragiliser la légitimité du pouvoir espagnol qui est devenu oppressif et répressif pour de nombreux Catalans, même ceux qui n'étaient pas de fervents séparatistes. Face au statu quo entre l'exécutif espagnol et le gouvernement autonome, les députés indépendantistes catalans approuvent le 27 octobre 2017 une résolution proclamant de manière unilatérale l'indépendance de la Catalogne. Cette déclaration d'indépendance est immédiatement suspendue, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy est autorisé à mettre la Catalogne sous tutelle, à dissoudre le Parlement autonome, à destituer le président catalan Carles Puigdemont) et à convoquer des élections anticipées fin décembre 2017 (ce scrutin est de nouveau remporté par les indépendantistes). Durant toute la période de gouvernement de Mariano Rajoy (de 2011 à 2018), les relations entre l'Etat central et la Catalogne n'ont fait qu'empirer et la tenue du référendum puis la déclaration unilatérale d'indépendance ainsi que, en réponse, le recours à l'article 155 de la Constitution sont un signe

¹ Article 155.1 de la CE: Si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement, après une mise en demeure au président de la communauté autonome et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Sénat, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette communauté à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné.

supplémentaire de cette dégradation des rapports entre les deux parties. Menacé de poursuites pour rébellion, le président régional déchu, Carles Puigdemont s'enfuit vers la Belgique et d'autres dirigeants catalans sont mis en examen pour sédition et rébellion pour ne pas avoir respecté l'ordre constitutionnel.

La crise que traversent la Catalogne et le gouvernement central (que nous venons d'exposer dans cette dernière partie) soulève deux questions principales: le rapport entre légalité et légitimité d'une part, et la souveraineté de l'Etat d'autre part.

Pour tenter de répondre à la première question, nous analyserons les actions/réactions des deux parties: le chef du gouvernement espagnol et le président de la Catalogne.

Le gouvernement central, pour sa part, considère la tenue du référendum et la déclaration unilatérale d'indépendance illégales car contraires aux principes constitutionnels. En revanche, les indépendantistes catalans estiment que le droit de se prononcer (par un référendum consultatif) sur leur statut politique et de considérer la Catalogne comme indépendante est tout à fait légitime étant donné que ce droit de décider émane d'un pouvoir politique (c'est-à-dire de la majorité catalane), élue démocratiquement. Ce à quoi Mariano Rajoy rétorque que l'intention est peut-être légitime mais la procédure est illégale. En fait, chacun s'appuie sur ce qui lui donne raison: la loi et le cadre constitutionnel pour le gouvernement central espagnol; la légitimité historique, populaire, de l'opinion publique, du sentiment nationaliste pour le président catalan. Et à ce sujet nous pouvons affirmer que les expériences passées d'autonomie en Catalogne (approbation d'un statut d'autonomie sous la Seconde République, reconnaissance de la région comme nationalité historique, annulation partielle par le Tribunal Constitutionnel de la nouvelle norme statutaire en 2010) légitiment les revendications actuelles.

Il faut toutefois reconnaître qu'il y a un défaut de consentement de la part des indépendantistes à l'autorité du pouvoir central qui avait interdit la tenue de ce référendum. La légitimité des décisions prises par le président catalan est donc soumise à un cadre légal supérieur: celui des décisions de la nation espagnole. Et cette suprématie des décisions du gouvernement central est corroborée lorsque Mariano Rajoy décide de dissoudre l'assemblée et de convoquer des élections régionales anticipées pour le 21 décembre 2017.

Nous venons de voir que Mariano Rajoy a agi selon la loi mais il a également voulu faire preuve de fermeté envers la Catalogne. Sa

réponse au conflit a été exclusivement judiciaire et il n'a démontré aucune volonté de dialogue ou de négociation avec un gouvernement catalan très déterminé. Cette attitude peut-elle provoquer une perte de sa légitimité et donc de celle de l'Etat espagnol?

Pour répondre à cette interrogation, nous dirons que la remise en question de l'Etat-nation est liée à la question de l'indépendance catalane puisque, depuis 2012, un puissant mouvement indépendantiste réclame la séparation entre la Catalogne et l'État espagnol ce qui remet en cause la légitimité de l'Etat-nation. Cette volonté peut s'expliquer par trois raisons: le mécontentement dû au vif centralisme espagnol sous le second gouvernement de José María Aznar (du Parti populaire) entre 2000 et 2004, l'échec de la réforme du statut d'autonomie catalan en 2010, et enfin l'impact de la crise économique et la mise en place d'une sévère politique d'austérité. A cela s'ajoute que l'attitude intransigeante de Mariano Rajoy vis-à-vis de la Catalogne a provoqué de manière indéniable une perte de sa légitimité déjà ébranlée par une série d'affaires de corruption au sein de son parti politique, le *Partido Popular*. Il semble que «Mariano Rajoy ait confondu autorité et autoritarisme. Et en politique, cela ne pardonne pas.»¹

L'unité de l'Espagne semble fragile et liée à la question de l'indépendance de la Catalogne mais une solution politique à la crise catalane pourrait éviter qu'elle ne se rompe.

Afin de conclure cette question relative à la légitimité nous pouvons nous demander si la légitimité des revendications pour l'autonomie, puis pour l'indépendance de la Catalogne peut être mise en parallèle avec la contestation de la monarchie en Espagne et le retour de l'idéal républicain (étant donné que la monarchie de Juan Carlos Ier s'inscrit dans une relative continuité avec la dictature du Général Franco) L'actualité très récente nous permet de répondre par l'affirmative à cette question puisque le Parlement catalan a voté le 11 octobre dernier une résolution visant à l'abolition de la monarchie en Espagne qu'il considère comme «une institution dépassée et non démocratique». A travers cette résolution, les indépendantistes condamnent l'intervention du roi Felipe VI (qui avait fait preuve d'une grande fermeté) dans le conflit catalan. Pour terminer, nous nous poserons une dernière question: est-ce que les revendications catalanes sont aussi légitimes que celles d'autres régions qui sont «historiquement» plus indépendantes, comme

¹ Propos tenus par Lola García, analyste et co-directrice de La Vanguardia, cités dans le journal Libération du 2 octobre 2017, « Mariano Rajoy, le principe d'irréalité ».

le Pays basque. A priori, au-delà de l'enjeu identitaire, en Catalogne, la prospérité et la richesse, ainsi que l'esprit d'entreprise jouent beaucoup dans une Espagne aux régions hétérogènes.

Au printemps dernier, le nouveau président séparatiste catalan, Quim Torra (qui a été désigné par Carles Puigdemont lui-même) prend ses fonctions. Ainsi la tutelle imposée à la Catalogne est levée au mois de juin 2018, après des mois de blocages. Avec l'élection à la tête du gouvernement central le 1er juin 2018 (grâce notamment aux voix des indépendantistes catalans, lors du vote d'une motion de censure contre Mariano Rajoy) du socialiste Pedro Sánchez pouvons-nous entrevoir une reprise du dialogue? Le 3 septembre dernier Pedro Sánchez, a promis aux citoyens catalans (après un entretien avec Quim Torra) un référendum sur un nouveau statut pour la région qui renforcerait son autonomie. Mais cette annonce n'a pas été particulièrement bien reçue par les indépendantistes, qui ont promis de nouvelles mobilisations pour l'autodétermination et non pour davantage d'autonomie. Plus d'un an après les tumultes liés à la question de l'indépendance catalane, le mouvement populaire est bien vivant mais il n'a pas avancé politiquement. Nous terminerons en citant les propos tenus par l'écrivain catalan Sergi Pamies pour qui «Certains problèmes n'ont pas de solution. Je crois que celui de la Catalogne en est un»¹.

Bibliographie

Boix, C., Major, J.C (2013). La marche de la Catalogne vers l'autodétermination, *Politique étrangère*, Paris: Armand Colin, pp. 37-49.

González Trevijano Sánchez, P. J. (1998). *El estado autonómico: principios, organización y competencias*, Madrid: Editorial Universitas.

Martínez Peréz, M. (2017). La Catalogne, région d'Espagne ou nation d'Europe?, *Caractères SciencesPo Toulouse*. URL: <http://caracteres-sciencespo-toulouse.fr/la-catalogne-region-despagne-ou-nation-deurope/> (consulté le 2 octobre 2018).

Moderne, F., Bon, P. (1981). *Les Autonomies régionales dans la Constitution espagnole*, Paris: Economica, Etudes Juridiques Comparatives.

¹ Raillard E. (trad) (2017), « Entre la Catalogne et l'Espagne, un problème impossible pour Sergi Pamies », *La Croix*.

Musseau, F. (2017). Mariano Rajoy, le principe d'irréalité, *Libération*. URL: https://www.libération.fr/planète/2017/10/02/mariano-rajoy-le-principe-d-irrealite_1600480 (consulté le 2 octobre 2018).

Otaola, P., Bory, St. (2016). *Autonomies et Indépendances, Le nationalisme au XXI siècle*, Saint-Denis: Connaissances et Savoirs.

Raillard, E. (2017). Entre la Catalogne et l'Espagne, un problème impossible pour Sergi Pàmies, *La Croix* (trad.). URL: <https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Entre-Catalogne-lEspagne-probleme-impossible-Sergi-Pamies-2017-10-08-1200882610> (consulté le 2 octobre 2018).

Rodés, M. A. (2010). La Catalogne et son Statut d'autonomie, *La Vie des idées*. URL: <https://laviedesidees.fr/La-Catalogne-et-son-Statut-d-autonomie.html> (consulté le 2 octobre 2018).

Легитимация в контексте политических событий в Каталонии

Анализируется феномен легитимации в свете последних событий в Каталонии, население которой, по результатам референдума 1 октября 2018 г., проголосовало большинством голосов за выход региона из состава государства Испания. Ставится вопрос о том, каково соотношение легальности и легитимности данного события. Для ответа на него используется анализ широкого социополитического и медиаконтекстов, формирующих основу для дебатов между каталонскими сепаратистами и представителями «центральной власти», т. е. правительством Испании.

Так, власти Испании считают сам референдум и его итоги незаконными, поскольку они противоречат основным принципам государственного устройства, зафиксированным в Конституции страны. Сторонники независимости Испании, напротив, уверены в легитимности произошедшего, поскольку право открыто высказывать свою политическую позицию во время всеобщего голосования, имеющего консультативную функцию, является прямым следствием демократических свобод, установленных Конституцией. «Централисты» во главе с председателем правительства Испании Мариано Рахой настаивают на том, что, хотя намерение высказать свою политическую позицию и соответствует нормам конституционного права, его реализация им противоречит, поскольку решение о референдуме не было одобрено парламентом Испании, а принявший его парламент Каталонии был вскоре распущен. Таким образом, следует констатировать,

что легальность, т. е. фундированность референдума и его итогов в действующем законодательстве, является камнем преткновения в спорах между двумя сторонами.

Жесткая позиция Мариано Рахой, несомненно, усугубила процесс делегитимации «центральной» власти, уже достигший внушительных масштабов на фоне коррупционных скандалов, в которые оказался втянут председатель правительства Испании и возглавляемая им Народная партия. Кроме того, на фоне каталанского кризиса стал особенно заметен процесс объединения двух объектов делегитимации: полномочий правительства Испании и существования испанской монархии. Не последнюю роль в этом процессе сыграла та поддержка, которую король Испании Филипп VI окзал правительству Испании, высказавшись в пользу проводимой им авторитарной политики в отношении сепаратистов.

Таким образом, если легитимность выбора каталонцев остается под вопросом, то усугубление тенденций к делегитимации центральной власти во всех ее проявлениях, идет ли речь о правительстве или о монархе, в Каталонии более чем очевидно.

2.3. Spanish Civil War mass grave exhumations: Legitimations and de-legitimations in contemporary Spain

In 1938 Jay Allen, a journalist of the Chicago Daily Tribune, interviewed to the general Francisco Franco. When Franco tells him about his plans to advance over Madrid, Allen wrote: “You will have to shoot half of Spain, I said. He shook his head smiled and then, looking at me steadily: I said whatever the cost” [Allen 1936]. Franco’s aspirations to systematically eliminate the opposition were not secret. The coup leader Emilio Mola said: “It is necessary to spread terror, eliminating without scruples or hesitation all those who do not think as we do” [Preston, 2011].

The rebels mass violence (perpetrated by army, militias, and civilians) resulted in numbers of victims that have fluctuated in recent years, from 100,000, according to Santos Juliá and Julián Casanova [Juliá, 1999; Casanova, 2002], to the most up-to-date of 130,199, contributed by researchers such as Francisco Espinosa and Paul

Preston [Espinosa, 2010; Preston, 2011]. These amounts could easily up to 150,000, if all the archives could be review and in-depth studies conducted in all regions. However, many of them are difficult to access or are still classified as not accessible. In fact, access to civil war archives is a demand of researchers and Historical Memory associations. The last year (2018) the Ministry of Defence declassified the archives prior to 1968 in the General Military Archive of Ávila, but many other military and civilian archives are still not accessible, or their access is limited [González, 2018]. Thanks to numerous studies, the methodologies of violence used by the rebels during the war and the post-war period were proven. During the first months, the country suffered a period of extreme violence, whereby it is estimated that between 30,000 and 35,000 people were killed out of court in the Francoist rearguard [Espinosa, 2010]. This violence had a pattern that had remained in the social imaginary. Paramilitary groups like the Falange (Fascist party), sometimes supported by the Guardia Civil (Rural military police), moved through the towns of the national rearguard following accusations and reports arresting 'Reds' or related ones. They were generally murdered in areas more or less close to the municipalities and buried in mass graves, in order to favor impunity for the executors [Ferrández, 2010]. After November 1936, this initial cleansing process was rationalized, being transferred to the bureaucratic military justice. It implied massive imprisonments, summary trials and the creation of concentration camps. They are associated with the largest mass graves [Rodrigo, 2008; Casanova, 2002].

Therefore, we discuss in our research on the rearguard violence, victims of 'sacas', 'paseos', summary trials and other extrajudicial killings, not on those fallen in combat. But this was not the only sort of violence. The disqualification to professionals, property expropriation, sexual assaults and social ostracism to survivors of repression, were some of the others methods. However, this kind of violence requires another particular and detailed study. Nevertheless, this text deals with the exhumation of mass graves, the victims of which would belong to the first case. Furthermore, mass graves are one of the most obvious material consequences of this violence. And the fact is that the entire Spanish State territory was filled with these 'Landscape of Terror' as the anthropologist Francisco Ferrández has called them [Ferrández, 2009].

First of all it is essential to briefly describe first these exhumation processes linked to these mass graves. These will be taken in this research as means of political legitimization and delegitimization.

Even if the focus is on contemporary processes, it is important not to understand them in isolation, as they have a long historical background. The first exhumations would be those carried out during the war. The Republican Government carried out exhumation processes with the interest to stop arbitrary killing in the areas under their control. They also intended to demonstrate that the courts were independent of any political power and to make the international community understand that the Republic would not allow them. These processes were carried out under the judicial supervision of the own Spanish Republic judiciary, as exemplified in the case of Judge Josep Maria Bertran de Quintana, in Catalonia. He devoted himself to research on clandestine cemeteries carrying out exhumations, with judicial and forensic presence until December 1937 [Dueñas and Solé, 2012]. On the other hand, unlike the republican case, the rebels during the war began a process of exhumations but only of the bodies of the ‘victims’ on their side. This process began to be legislated by the rebellious authorities during the contest itself, with publications in the Official State Gazette since October 26, 1936. This exhumation process continued after the war. Thus, after the Civil War, and with the ‘victory’ of the rebels and the establishment of the new Spanish State, the only exhumations to carried out were those carried out by the Franco administration.

The Spanish State increased the legislative action of the management of the bodies of its ‘victims’ after 1939. The process was broadened to the entire territory and it involved local governments. This is shown by the Law of May 1939 in relation to the management of City Councils on exhumations, burials and transfers of the bodies of the so-called “victims of red barbarism or dead at the front” in the Official Bulletin of 17th May, 1939. This exhumation process involved a broad-spectrum management process fully legislated by the new authorities and it encompasses multiple actions: administration of death, prosecution, exhumation, forensic analysis, relocation and monument building [Saqqa, 2017]. From its beginning during the war, the exhumations and re-inhumations of bodies continued until the inauguration of the Valley of the Fallen in 1959, with the relocation of more than 30,000 bodies. It is a huge memorial, very close to Madrid, that had been long planned by Franco to commemorate his military victory for eternity. The first body to arrive there was the one of José Antonio Primo de Rivera, the founder of Falange, who was located in the main altar and for 15 years presided over the monument on his

own. He had to share this honor in November 1975, when the Valley became Franco's burial place [Ferrández 2018]. This exhumation process took place in the context of a official narrative of the military victory, which was anchored in concepts of religious crusade, heroism, and martyrdom. It is known in Spanish political history as National Catholicism [Box, 2010].

After the dead of Franco in 1975, a period of transition to democracy started. An amnesty law was approved in 1977, freeing the political prisoners jailed by the Francoist authorities, but also preventing the Francoist perpetrators from being prosecuted. Under the so-called 'Pact of Silence', there would be no mention to the victims of Francoist repression. Paloma Aguilar defines the 'Pact of Silence' as a 'tacit agreement during the transition to silence the crimes of the Civil War and Francoist repression'. Also, during the political transition, the memory of the war was indeed highly present in the sense that most Spanish people thought a new armed conflict was possible at the time [Aguilar, 2008]. Nevertheless, the limit of what was allowed was not clearly stated. As the nature of the so-called pact was tacit, it was rather a try — and — see process [Mateo & de Kerangat 2018], and it is necessary to point the difference between what happened at State level and the local actions and initiatives across Spain [Kerangat, 2017]. In this social and political context, some exhumations took place in the late 1970s and early 1980s. Those exhumations had the feature that they could not include scientific support and forensic identification. In most of the cases, the remains were buried again in collective vaults. What bound these groups together and turns them into a community was the desire to give dignity back to the victims through the re-burial of their remains [Kerangat, 2017].

After the exhumations of the 1970s and 1980s, it will not be until the year 2000 that the exhumations of the mass graves of the Civil War continued. The start date for the exhumations in contemporary Spain is October 2000. Then, 13 civilian men shot on 16 October 1936 were exhumed in Priaranza del Bierzo, in the province of León. This exhumation represents the first of the latest series of exhumations, which has been successful in recovering at least 8425 bodies of people shot by the fascists during and after the War. The cycle of exhumations that began in 2000 was driven by the grandchildren of the victims, and the movements for the recovery of historical memory, which created memory associations such as the ARMH, Association for the Recovery of the Historical Memory, and the Forum for Memory [Foro por la

Memoria]. These were crucial in promoting exhumations by including them in a process of recovering historical memory.

From this brief overview of the exhumation processes, it is proposed to understand them as means not only to research or to get justice. They are also means of political legitimization, which is evident through the media discourses and cultural memories produced in the context of exhumations. Thus, when approaching the exhumation as a process of political legitimization, a direct reference is made to the ideological dimension of Human Rights understood from a liberal point of view. A point of view from which international bodies have accredited or discredited regimes in the last decades [Brown, 2014]. In this way the exhumation process can be understood as a whole, where the forensic practice is linked with cultural memories and memory policies. It is at this point that the agency of exhumation for political legitimization and delegitimization could be recognized.

Based on the hypothesis that the exhumation process represents a means of political legitimization and delegitimization, the three dominant positions in this respect have been selected, of those that are present in the mass media since 2000 in Spain. The position of legitimization by exhumations, the position of delegitimization by the insufficiency of exhumations and the position of delegitimization by the opposition to exhumations. In a comparative way, the different discursive proposals are presented by actors involved in the exhumation process: political parties, media and civil organizations. Therefore, the exhumation process is not deprived of its ideological dimension in the core of Spanish society and its current political challenges.

They Died for Freedom and Democracy: To exhume and legitimate

These exhumation processes, unlike the exhumations carried out in the transition, were carried out by specialized teams. The associations of memory, especially the ARMH and the Forum for Memory, gradually developed protocols of action for researchers prior to exhumation — including the location of the graves, the circumstances of the shootings, and the identity of the bodies — to interview survivors, reprisals, and relatives of the victims, to the exhumation itself, and to manage the exhumed remains. With this purpose, they developed agreements with university technicians, such as forensic anthropologists, archaeologists, historians, cultural anthropologists and psychologists. In addition, as Ferrández suggests, the exhumations and various commemorative

events were mostly carried out with the resources of family members, members of associations and volunteers, finding little or no institutional support, if not outright blocking attitudes [Ferrández, 2007]. However, and fundamentally to understand the exhumation process as means of political legitimization, these activities, although insufficient, were directly subsidized from the Presidency of the Government from 2006 to 2011, as the ARMH indicates on its website.

Therefore it is necessary to point out that this process is not backwards to the political situation. Paloma Aguilar notes how since the 1977 elections the Civil War and Francoism, and consequently the mass graves, did not play a major role in the political discourse although they had not been absent in it. According to Aguilar, the massive eruption of the past dictatorship took place in Parliament as a result of the 2000 elections [Aguilar, 2006]. The absolute majority in Congress was obtained by the right-wing PP (Popular party), and it is since then on that the opposition's proposals in relation to memory began. "Of all the parliamentary initiatives that between 1977 and 2002 contained the words 'franquismo', 'franquista' or 'Francisco Franco', 57 per cent were registered during the last PP legislature. These initiatives had not reached 10 per legislature until the penultimate PSOE (Socialist Party) legislature, and they were triggered in the seventh, in which the PP ruled with an absolute majority" [Aguilar, 2006]. Thus, if in the seventies a pact had been generated among the political elites not to politically instrumentalize the crimes of the Civil War (from the Francoist sectors in search of impunity and the Communists in search of reconciliation), Aguilar points out that with the second government of the UCD, Union of Democratic Centre, this consensus ends, and that although Santos Juliá points out that in 1979 the past was already used as a "throwing weapon. However, in my opinion, it was not done with the depth or with the systematization of 1993" [Aguilar, 2006]. To achieve this, she compares the programmes of the PSOE in 1993 and 1979, highlighting the lack of allusions to the 'right' and to 'progressivism', something that changes in the face of the possibilities of the 'turn to the right' in the nineties: when the PSOE, after three legislatures with an absolute majority, was on the verge of losing power. Faced with this possibility, the socialists decided to campaign against the PP on the basis the Francoist past of some of the leaders [Aguilar, 2006]. It would be from 1996 when parliamentary initiatives began to become widespread. The process of exhumations also began to appear

in public debate when the Association for the Recovery of Historical Memory was created in 2000. Founded after the exhumation of the aforementioned grave in El Bierzo, León, the organization would become the main state-level organization in charge of exhumations, even meeting the UN Committee on Enforced Disappearances.

When Ignacio Fernandez de Mata analyzes the emergence of this association, argues that this movement gave to progressive parties the possibility to symbolically align themselves with the values of the past. “It coincided with a time when the national left needed to redefine a sweetened discourse after an excessive permanence in power, with all its old reformist yearnings subjected to tremendous moderatism [...]. This baggage made the PSOE, aided by the social weariness awakened by the intolerant and unpopular policies of José María Aznar during his second legislature, pretend that symbolic capital of the victims in order to reconstruct a certain historical referentiality for the party and its voters” [Fernandez, 2007]. The fact is that once the government began to deploy a series of measures, which do not occur in isolation either when the PSOE recovers the government.

Hence, the policies of memory for that first period of “changes” are synthesized again by Paloma Aguilar for the Pablo Iglesias Foundation. In 2004 the “Interministerial Commission for the Study of the Situation of the Victims of the Civil War and Francoism” was created by Decree. Subsidies were also allocated by Presidential Order to exhume and dignify activities related to the victims of the War and Dictatorship, 2006 was consecrated as the “Year of Historical Memory” and the Law of Reparation was approved in 2007 [Aguilar, 2009]. Although the law was proposed to compensate the memory of the victims, as Paloma Aguilar observes, “The request to the ‘historical memory’ became, from the beginning of the legislature, a vindictive slogan, one of the flags of the left and the nationalists. For these political forces it was a necessary memory to recover a democratic tradition with which they themselves did not dare to link up in the difficult times of the Transition because they feared to be branded as revanchists or nostalgic” [Aguilar, 2009]. At the same time, if the policies of memory once again legitimised the PSOE as heir to the ‘left’ tradition, they also gave Spain a halo of democratic legitimacy internationally. This is essentially because before facing the Spanish case, Judge Baltasar Garzón dealt with the Chilean and Argentine cases. In this sense Sophie Baby points out as “Pinochet’s indictment in Spain, although it is perceived as a ‘Spanish deviation’ of the Chilean national reconciliation, can be interpreted in

the same way as a ‘Latin American deviation’ of the Spanish national reconciliation” [Baby, 2011].

Finally, a brief glance at recent monumental productions is worthwhile in order to understand the usefulness as a legitimating element within the cultural memories of exhumations. Thus, the political use of exhumations becomes evident when the symbolic space left by the emptied earth is covered by an ‘artistic’ artifact where a certain discourse is made explicit. Although the investigation of these monuments is currently being approached by one of the authors, and is still incipient, it is possible to affirm that most of them refer to the victims of the uprising and subsequent repression as ‘Dead for freedom and democracy’. There are multiple forms, and there are multiple denominations of victims since there has not been a unified state policy. But the words ‘freedom’ and ‘democracy’ are found in most of these memorials. A final aspect to understand this process of political legitimization through exhumations can therefore be deduced from this. From the consensus of the majority parties of the transition, the monarchy established after the death of Francisco Franco is considered a democracy. Thus, in dignifying the victims of the uprising and subsequent repression we pay tribute to those who died for a democracy, not necessarily for a republic. In this way, it is comparable to the system that Spain would have today. A clear example of this are the Places of Historical Memory of Andalusia, which can be found in an online catalog on the website of the Regional Government of Andalusia.

Truth, justice, reparation: To exhume is not enough

The founders of the associations for the recovery of historical memory and who began exhumations of mass graves in the year 2000, were composed mainly of relatives of those who were the subject of repression. The first line relatives who lived during the War, the Post-war period and the Dictatorship could not recover the bodies of their relatives. This impossibility of the victims to honor to them and bury them produced long-term effects that help to understand the imperative need to recover the remains of their relatives 70 years later [Fernandez de Mata, 2007].

Fernández de Mata notes the generosity of the victims during the transition, when the political circumstances urged them to postpone their demands for better times. According to him, the neglect of the victims was a determining factor in the constitution of the ARMH

[Fernández de Mata, 2007]. But neither the 1977 amnesty law nor the ‘pact of silence’ managed to silence the claim on the part of society, as Gail Holst-Warhaft’s remarks: “grief is a potent catalyst for activism” [Holst-Warhaft’s, 2000]. And with it the rebirth of the collective memory [Ferrández, 2007] carried out by the generation of the grandchildren of the victims. Since the year 2000, a series of processes had taken place that has marked memory policies in Spain for the new century. It can be understood that, although the exhumation process once again legitimized the positions of the majority left of the PSOE, it also represented a delegitimatory evidence for the Spanish State, which had always ignored the problem.

Emilio Silva and Santiago Macías, presidents of the ARMH, presented the demand for more means for the exhumations of the mass graves of Franco’s regime in 2002 to the United Nations. This was based on the “Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance” of 1992 in the UN Resolution 47/133 that Spain had signed. The UN “Working Group on Disappearances” finally denounces the use of disappearances as a method of political persuasion during Franco’s regime at its meeting in Geneva in 2002. It also proposed to intercede with the Spanish government in three cases, and considers that it does not have jurisdiction over the cases prior to its creation in 1945 [ACNUDH]. According to Fernández de Mata, movements initiated by associations such as ARMH and the Forum forced the Spanish Parliament to condemn the Franco regime for the first time on November 20, 2002 [Fernández de Mata, 2007]. On September 10, 2004, under the new presidency of José Luis Rodríguez Zapatero, Decree 1891/2004 ordered the creation of the Interministerial Commission for the Study of the Situation of the Victims of the Civil War and Francoism chaired by Vice-President María Teresa Fernández de la Vega. The work began on what would later become the legislative text of the popularly known Historical Memory Law of 2007. The UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances in its 2009 report highlights that Law 52/2007 “does not address the crime of enforced disappearance, the Government indicates that this is not intended to typify and punish the crime of enforced disappearance, but promotes measures that can contribute to knowledge of history and facilitate democratic memory, all in the framework of a spirit of reconciliation” [ACNUDH 2009]. This law was therefore seen as ‘insufficient’ and ‘disappointing’ for left-wing parties, nationalists, victims’ associations and human rights organizations [Macé, 2012].

Thus, the president of the ARMH, Emilio Silva, regretted in an article in the newspaper El País in December 2008, that the government was once again leaving “the exhumations, that is, the consequences of a murder, in the hands of volunteers” [Junquera, 2008].

In reaction to the insufficient Law of Memory, the next step in the claims of the associations and organizations was to submit their petitions directly to the national judicial system. As of December 14, 2006, several associations imposed lawsuits in the Central Court of Instruction number five of the Audiencia Nacional, whose head was Baltasar Garzón. They asked him to declare himself competent to investigate and judge alleged crimes of illegal arrest in the framework of crimes against humanity. The judge accepts the jurisdiction and counts a total of 114,266 cases between July 17, 1936 and December 1951. In an order dated October 16, 2008, the Garzón considered that during the War and Dictatorship there had been serious violations of rights. These were classifiable as crimes against humanity and the procedure of forced disappearances was systematically used to hinder the identification of victims and prevent the performance of justice until today [Ferrández, 2010].

The chief prosecutor of the Audiencia Nacional at the time, Javier Alberto Zaragoza, pointed out several factors before Garzón's order. From the legal point of view, the jurisdiction over alleged forced disappearances did not proceed, referring to the 1977 Amnesty Law and pointing that “consequently we are manifestly in face with crimes of murder, a circumstance that put an end to the illicit situation of deprivation of liberty”. Therefore, the figure of forced disappearance would not be applicable. In addition, it points that “the legal qualification of the facts denounced as crimes against humanity” would not be applicable to the case either, for “the written and customary body of law that makes up international criminal law did not exist at the time of the perpetration of the acts”. In addition, he considers that the Law 52/2007 of 26 December, known as the Law of Historical Memory, it is “a legal measure that through its different provisions formalizes the recognition of a historical injustice and articulates the necessary measures for the effectiveness of reparation” [Zaragoza, 2008].

After this initial dismissal, Garzón proceeded with his legal actions. Other crimes committed during the Franco's government include those by the Cabinet of Psychological Investigations of Dr. Vallejo Nájera and those related to the so-called lost children. As a consequence of the beginning of these judicial processes, the Supreme

Court admitted the complaint of Manos Limpias and Falange de las JONS (Organizations of the Far Right) against him for prevarication [El País 2010]. The UN “Working Group on Disappearances” issued a press release on 25 May 2010. It noted its concern that the General Council of the Judiciary of Spain had suspended Judge Baltasar Garzón for admitting and investigating a series of complaints filed in 2006 in relation to more than 100,000 cases of enforced disappearances during the War and Dictatorship.

The international organizations themselves highlighted the Spanish State by delegitimizing it before the exhumations process. In this way, the UN is joined by organizations such as Amnesty International. They had pressed the Spanish State over these years. In 2005, Amnesty published a report in which it stated that one of the government’s priorities should be to “put an end to silence, injustice, and a outstanding debt to the victims of the Spanish Civil War and Francoism”. Since its first report, Amnesty has published new annual reports. In 2017/2018 it states again: “The Spanish authorities continued to close investigations into crimes under international law committed during the Civil War and Francoism. They argued that it was not possible to investigate the reported crimes — which included enforced disappearances and torture — due, among other things, to the Amnesty Law and the statute of limitations for crimes. In addition, they continued to fail to take steps to locate and identify the remains of victims of enforced disappearance and extrajudicial execution, leaving the families and organizations concerned to undertake exhumation projects without the support of the State”. In the same report, they highlight how Mexico becomes the second country to investigate crimes under international law committed in Spain during the Civil War and Francoism, when the Attorney General’s Office initiates an investigation into the so-called case of “stolen babies”. The first country to investigate crimes under international law committed in Spain was Argentina.

Humanitarian organizations from Argentina and Spain, together with 1980 Nobel Peace Prize laureate Adolfo Pérez Esquivel, presented on April 14, 2010 in the courts of Buenos Aires a complaint to initiate an investigation into the “genocide” and crimes against humanity committed against thousands of people during the War and Dictatorship in Spain. The complaint meant, on the one hand, that the Argentine judge, María Servini de Cubría, issued an international arrest warrant against four torturers of the dictatorship of General Francisco Franco.

This order was accompanied by requests for extraction in 2013 and 2014, systematically breached by the Spanish government. However, they managed to carry out the first exhumation by judicial order of a victim, Timoteo Mendieta, shot in 1939 and deposited in a mass grave in the cemetery of Guadalajara. His body was recovered by the ARMH and identified in June 2017 [El Diario 2017]. This case made it clear the ineffectiveness of the Spanish state, when a foreign justice was required in order to carry out an exhumation in Spain.

At the political and legal level, Sophie Baby also pointed out the inadequacy of the process. "In this case, justice appears as a substitute for the shortcomings of political action and, in particular, for the inadequacies of the 2007 law, which does not address all the demands of the victims, such as, for example, the protocol requested for the exhumation of mass graves. But beyond the technical questions, through the will to bring the judicial process to an end, whatever the cost, something much more essential is at stake, which affects the very essence of justice. The law of memory, according to Garzón, cannot enter into the framework of "transitional or restorative justice", words used by the Attorney General, since "justice does not precisely intervene" [Baby, 2011]. Since the forensic research process has not led to an explicit condemnation and full reparation of the victims, moral recognition from state institutions has easily been understood as insufficient. Above all, if we add to this the fact that more than half of the graves have yet to be exhumed.

In such a circumstance, the exhumation generates a delegitimization for the State, since it can be understood that "it has not been equal to" the circumstances. This could be the position associated mainly with two political sectors: the communist left, the nationalists and the 'human rights' associations. However, they can be associated with many other collectives that may also have differed in the methods, protocols or guidelines of the politics of memory: either because of technical disagreements (desire not to exhume the bodies) or because of political disagreements (not identification with republican values, such as anarchists). Nonetheless, given the limitation of the text, we will not analyze such positions. A clear example of this can be found in the War and Exile Archive Association, AGE, and the Relatives and Friends Association of the Mass Grave of Oviedo, AFAFC. They considered the exhumation process as a 'genocide obliteration'. For them, the mass graves must remain where they are, except in borderline situations. In this logic, exhumations would transgress the powerful

denunciation of the barbarism contained in the very presence and significance of the graves and buried bones. They would propose the ‘dignification’ of the graves at their location, with official signals and monumentalizations. This would include the erection of monoliths or other types of commemorative artifacts and the setting-up of rituals to keep alive the memory and honour the victims [Ferrández, 2007].

In oppositeness to these opinions, there are associations such as the ARMH, which state that it is crucial for Spanish society to confront the images of repression as inscribed on the bodies of the defeated. That the simple demarcation and commemoration of graves would never have the depth and social impact that exhumations have and would prevent a clear visualization of the magnitude of the horror. But in this attitude there are internal divergences. There are branching opinions regarding what Ferrández calls the “symbolic and political protocolization” of exhumations. ARMH proclaims political independence, and adheres to a generic discourse on the promotion of human rights. It considers the relatives of the victims as decisive agents. On the contrary, according to its analysis, the Forum for Memory, linked to the Communist Party of Spain, considers the depoliticization of exhumations and commemorations essential [Ferrández, 2007].

Macé states that part of the discomfort of the Forum comes from his fear that the ARMH will bury anarchists, communists, socialists and republicans of the 1930s in tombstones that do not recall his political commitment. In other words, they complain that political assassinations are treated as a personal affair [Macé, 2012]. According to Ferrández, these disagreements would underline the importance of mass graves as privileged places [Ferrández, 2007]. However, and without participating in the debate, it is evident that in both cases the exhumation and the subsequent monumental production are means of legitimization for certain organizations from the perspective of opposition to the established political status. In this way, the positions of anarchist, communist or Basque nationalist political organizations could be added to the Forum, whose proposals do not simply refer to attending to “humanitarian” demands, but represent an “antagonistic” political option to that of the victims of violence whose bodies are at the epicenter of the debate.

The other side of historical memory: Against exhumations

Immediately after the end of the Civil War, the Spanish State initiated a judicial process, represented mainly by the General Cause, as already mentioned at the beginning of the text. It was a judicial procedure conducted by the Prosecutor's Office of the Supreme Court with the aim of gathering "evidence of criminal acts committed throughout the national territory during the red domination" in the Official Bulletin of 4th May, 1940. Approved by the decree of 26 April 1940, its main function was to collect information on the victims and perpetrators of the so-called 'red terror'. Thus, a large central file of repression was created. It is a large database, which always maintained a connection with the police forces, the military courts, the courts of political responsibility, the prison system and the concentration camps [Ledesma, 2005].

This judicial process included an extensive research of the deceased linked to the winning side, in front and rear, and includes in the processes of exhumation of their 'victims'. Since its creation, the General Cause became the body that regulates exhumations at the national level. It was published for the first time, in a summary of the same, in 1943, with the name of "General Cause. The red domination in Spain: advance of the information given by the Public Ministry of Spain". It was republished numerous times during the dictatorship due to its ideological usefulness for the regime. However, it is urgent to point out that this text was edited again in 2000. In the framework of contemporary exhumations, this fascist propaganda was again relevant to oppose the contemporary exhumation process, understanding the legitimacy at stake. Outstanding editions in 2008, 2009 and 2018 by the publishing house Akrón, far right oriented. The management of the bodies carried out by the rebels could be considered a tool with the legitimate intention of the Franco regime and would allow us to understand Katherine Verdery's assertion that burying those who are considered as dead and the creation of the Nation-State are interconnected. Also that these bodies and their political use are useful in moments of political transition [Verdery, 1999]. Therefore, in the case of the regime, it could be understood as an early or preliminary use of bodies as forensic evidence by a regime seeking legitimacy through exhumations [Saqqa 2017]. It is for this reason that in this new context they could recover the text, before the new wave of forensic processes, to oppose them and re-legitimize the Francoist Spanish

State. In fact, Sebastian Balfour has considered that Spanish historical revisionism “does not deserve such a term because it does not offer new analyses based on a work of archive or historical memory, but rather reactualizations, as Enrique Moradiellos maintains, of old propaganda” [Balfour, 2006].

Thus, beyond the simple re-edition of the General Cause, there had been a revisionist offensive. Many saw in the exhumation processes a danger, either by delegitimizing the state or by legitimizing its opponents. This ‘offensive’ says Balfour, coincides with the arrival of the Popular Party in government in 1996 and its achievement of an absolute majority in 2000. This would be supported by economic and financial powers, by the media and by the Catholic Church. And in historiography or ‘pseudo-historiography’ it would take shape through authors such as Jimenez Losantos or Pío Moa. In this way, he highlights how Pio Moa makes use of a key strategy around exhumations to legitimize his position. Moa’s strategy is to compare the crimes of the rebels and the Spanish State to those of the Republican Government and militias, or to those of the United Kingdom, France and the United States during the Second World War. “This attempt to manage comparative balances of atrocities to remove guilt reveals another cheating relativism, that of historical decontextualization. In any war barbarity is committed, says Moa, as if the war had no ethical dimension” [Balfour, 2006].

Within this offensive, it is important to emphasize that the political lines related to Francoism have opposed the exhumation processes. This has been picked up by the media, and one only has to look at the newspaper libraries to find recurrent statements of opposition of all kinds. Pedro Ruiz Torres gathers in his work some of the reactions to the declaration in 2006 of “Year of the Historical Memory”. ABC considered that “The PSOE equates in Congress the Second Republic with the Transition of 1978” and thus headed one of its editorials: “Revisionism as revenge. [...] El Mundo and ABC once again agreed in their rejection and accusation of the government as ‘revisionism’ for having broken with the spirit of the transition and questioned the basis of the 1978 constitutional consensus. Both newspapers lamented that the government had resurrected the ghosts of the past and opened the thunderbox of historical memory”. The Fundación Alternativas, linked to the PSOE, linked these positions to the so-called “strategy of tension”. This includes the radicalization of positions and demobilization through disenchantment. In this way, jointly with the examples given

by the authors, related with a language that was “often insulting and almost always extreme”, we would find the ideas of “the unity of Spain”, “destroying the Constitution”, “surrendering to terrorists”, “betraying the blood of the dead” [Latorre et al., 2008] to which we could add the accusation that when exhumed they adopted “civilwarlist” positions [Caballero, 2005].

However, this opposition to exhumations is not isolated. It had been preceded by political measures that can be explicitly understood as pro-Franco memory recovery processes. An example of this was the measure taken by the PP government, under the presidency of José María Aznar (1996–2004), which agreed on the allocation of subsidies for the creation and development of the Francisco Franco Foundation [Macé, 2012]. In the year 2000, the same year as the opening of the Priaranza mass grave, the Aznar government approved an annual subsidy of 150,000 euros from the Ministry of Culture for the creation and development of the Francisco Franco National Foundation. In addition to these grants, during the government of Aznar, Patrimonio Nacional opened the Valley of the Fallen free of charge to the Foundation. It also opened free access every November 20, the anniversary of the dictator’s death. Ferrández also highlights how the same year of publication of the so-called Law of Memory takes place the controversial beatification of 498 ‘martyrs’ of the Civil War on October 28, 2007 in St. Peter’s Square in Rome. An act bound, in the words of Pope Benedict XVI, to the promotion of “mercy, reconciliation and peaceful coexistence” [Ferrández, 2007].

In this way, it is easy to understand that a new exhumation can be used as mean of delegitimization against a PSOE government in 2018, when they express their intention to exhume Francisco Franco of the Valle de los Caídos. The issue in this sense, and which is relevant in this text, would no longer be the means of legitimizing or legitimizing the presence or absence of the dictator in a public space, but as a response, in recent months there have been numerous attacks and vandalism attacks on the monuments built on the mass graves already exhumed in Spain. This implies that these cultural memories, despite being associated with “revenge” positions, would continue to have an importance in the collective memory of Spanish society. Thus, their aggression is but a reaffirmation of the need to delegitimize and put an end to some “landmarks” that on the territory are referring to values that are opposed to those related to the fascism in terms of construction of democratic referents.

Conclusion

We started with the hypothesis that the exhumation process represents a mean of political legitimization and delegitimization. After addressing the three dominant positions in relation to exhumations: legitimization by exhumations, the position of delegitimization by the insufficiency of exhumations and the position of delegitimization by the opposition to exhumations; it has been possible to confirm the hypothesis.

The context of the exhumations that are part of the cycle that began in the year 2000 are therefore associated with a period of need for legitimization. Through these exhumations, the left parties needed to recover its discourse based on a historical referentiality, going back to the Second Republic and the struggle for democracy during the War. This served at first to oppose the unpopular government of José María Aznar and later, after the electoral victory of the PSOE, to give the party back its legitimacy as a democracy builder by valuing those who fought for democracy, which was the Second Republic. However, the measures taken were not sufficient. In this sense, exhumations are understood as a delegitimization for a state understood as inoperative or as an accomplice. At the same time as legitimacy for the positions that vindicated in a much more emphatic way the republican values, such as the Forums for Memory and the PCE (Comunisit Party of Spain). Finally, faced with the position of legitimization and that of legitimization and delegitimisation, we find the third. The one of just delegitimization. The exhumation was thus presented to the national right as a threat, which called into question the achievements of the transition and soiled the image of Francoism as a guarantor of peace, stability and economic development of which the PP was the heir.

The exhumation is thus located as an archaeological action, in search of a past, and forensic, in search of some legal responsibilities. However, it also has a high dignification feature for the victims and a symbolic restitution for the relatives, friends and political comrades of the victims. It is at this point that the exhumation within the discourse can be used as a means of political legitimization. The so-called "historical memory", in which the exhumations had a fundamental role, became a vindictive slogan during the legislatures of Jose Luis Rodriguez Zapatero, a banner for the left and the nationalists. However, the strong onslaught of the right in this sense is evidence of the fundamental importance of this type of process for the configuration of political culture in today's societies. Particularly in a context in which

human rights violations are understood as a throwing weapon between states in front of the international community in search of legitimizing their position as guardians of democracy.

Bibliography

- Aguilar, P. (2006). La evocación de la guerra y del Franquismo en la política, la cultura y la sociedad españolas [<http://purl.org/dc/dcmitype/Text>]. Recuperado 14 de noviembre de 2018, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2189998>
- Aguilar, P. (2006). La evocación de la guerra y del Franquismo en la política, la cultura y la sociedad españolas [<http://purl.org/dc/dcmitype/Text>]. Recuperado 14 de noviembre de 2018, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2189998>
- Aguilar, P. (2008). *Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada*. Madrid: Alianza.
- Aguilar, P. (2009). Las políticas de la memoria. En A. Bosco & I. Sánchez-Cuenca (Eds.), *La España de Zapatero. Años de cambios, 2004–2008*. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.
- Baby, S. (2011). ¿Latinoamérica: un desvío necesario? Baltasar Garzón, de Pinochet a Franco. *Amnis. Revue de civilisation contemporaine Europes-Amériques*, (2). <https://doi.org/10.4000/amnis.1485>
- Balfour, S. (2006). El revisionismo histórico y la Guerra Civil. *Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo*, (19), pp. 61–65.
- Casanova, J. (2002). *Morir, matar, sobrevivir: La violencia en la dictadura de Franco*. Barcelona.
- de Kerangat, Z. (2017). Beyond Local Memories: Exhumations of Francoism's Victims as Counter-discourse during the Spanish Transition to Democracy. In *The Twentieth Century in European Memory* (pp. 104–121). Brill. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h377.10>
- Ferrández, F. (2007). Exhumaciones y políticas en la España contemporánea. *HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea*, (7).
- Ferrández, F. (2009). Fosas comunes, paisajes del terror, *LXIV*(1), pp. 61–94.
- Ferrández, F. (2010). De las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea. *Revista de Antropología Social*, (19), pp. 161–189.

- Espinosa Maestre, F. (2010). *Violencia roja y azul: España, 1936–1950*. Crítica. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=441332>
- Holst-Warhaft's, G. (2000). *The Cue for Passion: Grief and Its Political Uses*. Harvard University Press.
- Juliá, S. (1999). *Víctimas de la Guerra Civil* (Temas de Hoy). Madrid.
- Latorre, Iosu, Ortiz, J. & Panadero, Z. (2008). *Informe sobre la democracia en España 2008: la estrategia de la crispación derrota, pero no fracaso*. Madrid: Fundación Alternativas.
- Ledesma, J. L. (2005). La «Causa General»: Fuente sobre la violencia, la Guerra Civil (y el franquismo), 28(XIV), pp. 203–220.
- Macé, J.-F. (2012). Los conflictos de memoria en la España post-franquista (1976–2010) entre políticas de la memoria y memorias de la política. *Bulletin hispanique*, 114–2, pp. 749–774.
- Fernandez de Mata, I. (2007). El surgimiento de la memoria histórica. Sentidos, malentendidos y disputas [<http://purl.org/dc/dcmitype/Text>]. Recuperado 14 de noviembre de 2018, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2732174>
- Mateo Leivas, L. & Kerangat, Z. de. (2018). The limits of remembrance during the Spanish Transition: Questioning the 'Pact of Oblivion' through the analysis of a censored film and a mass-grave exhumation. *Memory Studies*, 1750698018777019. <https://doi.org/10.1177/1750698018777019>
- Saqqa Carazo, M. (2017). Mártires y Caídos por Dios y por España: Una aproximación a la gestión de sus cuerpos. En *Memorias de guerra, proyectos de paz: violencias y conflictos entre pasado, presente y futuro. Gernika-Lumoko Historia Bilduma, XIV*. (Fundación Museo de la Paz de Gernika).
- Dueñas Iturbe, O. & Solé i Barjau, Qu. (2014). El juez Josep Maria Bertran de Quintana (1884–1960): compromiso político y cementerios clandestinos. *Hispania: Revista española de historia*, LXXIV(246), 151–176.
- Preston, P. (2011). *El holocausto español*. (E. M. Nacarino Catalina; Vazquez, Trad.) (Edición: 005). Barcelona: Debate.
- Rodrigo, J. (2008). *Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista*. Madrid: Alianza.
- Brown, J. (2014). *La dominación liberal. Ensayo sobre el liberalismo como dispositivo de poder* (Ciencias Sociales). La Habana.
- Verdery, K. (1999). *The political lives of dead bodies: reburial and postsocialist change*. New York: Columbia University Press.

Sources of examples

- Allen, J. (1936, julio 28). Franco orders: «No let-up in drive on Madrid». *Chicago Daily Tribune*, p. 2.
- Aranzadi | Zientzia Elkartea · Society of Sciences · Sociedad de Ciencias · Société de Sciences. (s. f.). Recuperado 26 de diciembre de 2018, de <http://www.aranzadi.eus/>
- Caballero, D. (2005). PP, ultras y católicos presionan a los españoles. La derecha mete miedo. *Cambio 16*, pp. 8–14.
- Diario, El. (2017) Satisfacción y tristeza tras identificar el cuerpo de Timoteo Mendieta | Edición impresa | EL Diario. (s. f.). Retrieved from https://www.eldiario.es/clm/Satisfaccion-tristeza-identificar-Timoteo-Mendieta_0_653035076.html
- Foro por la Memoria — Federación Estatal de Foros por la Memoria | Memoria Histórica. (s. f.). Recuperado 26 de diciembre de 2018, de <http://www.foroporlamemoria.info/>
- Fundación Nacional Francisco Franco (s. f.). Portada. Recuperado 26 de diciembre de 2018, de <https://fnff.es>
- González, M. (2018). Defensa abrirá los archivos secretos de la Guerra Civil y el franquismo. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/politica/2018/09/16/actualidad/1537121723_032402.html
- Junquera, N. (2008, December 15). El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas. *El País*. Retrieved from https://elpais.com/diario/2008/12/15/espana/1229295602_850215.html
- País, El. (2008) El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas | Edición impresa | EL PAÍS. (s. f.). Retrieved from https://elpais.com/diario/2008/12/15/espana/1229295602_850215.html
- País, El (2010). La causa contra Garzón por la investigación del franquismo. *El País*. Retrieved from https://elpais.com/elpais/2010/04/21/actualidad/1271837845_850215.html
- Zaragoza, J. A. (2008). *Recurso a las diligencias previas 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción nº5, por el Fiscalía de la Audiencia General*, 2008. Madrid: Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Эксгумация братских могил времен Гражданской войны в контексте процессов легитимации и делегитимации в современной Испании

Рассмотрен процесс легитимации и делегитимации в современной Испании, связанный с конкретным общественным и политическим явлением — эксгумацией братских могил времен Гражданской войны 1936–1939 гг. Авторы выдвигают гипотезу о том, что подобное исследование останков жертв режима Франко помимо научных задач в то же время является средством политической легитимации и делегитимации. Подробно представлен политический и социальный контекст 2000-х, в котором начали проводиться эксгумации массовых захоронений, а именно возникшая необходимость использования референтных отсылок ко временам Второй Испанской республики и правительства Народного фронта для придания большей авторитетности политическому дискурсу левых сил. Тем самым в наши дни исследование останков погибших в Гражданской войне выступает инструментом легитимации демократического режима и делегитимации правящих политических сил.

Авторы отмечают, что на первых порах, до 2004 г., описываемые легитимирующие практики применялись в основном для организации протестов против непопулярного правительства, возглавляемого премьер-министром Хосе Марией Аснар. Позже, после победы Испанской социалистической рабочей партии, находившейся в оппозиции в 1999–2004 гг., эксгумации проводились, чтобы наделить данную партию легитимностью путем чествования тех, кто сражался и погиб за демократические ценности, воплощенные в образе Второй Испанской республики. Подчеркивается, что в целом подобные исследования останков жертв войн и политических режимов чаще носят делегитимирующими, чем легитимирующими характер, поскольку государство как минимум бездействует или как максимум является сообщником произошедших ранее политических преступлений. Так, рассматриваемые исследования массовых захоронений представляют собой угрозу для правых сил. Эксгумации заставляют забыть «экономическое чудо» и стабилизационный план 1959 г. и бросают тень на режим диктатуры Франсиско Франко, наследницей которого является современная Народная партия Испании.

Тем самым, по мнению авторов, эксгумационные исследования выполняют как археологическую, так и экспертно-криминалистическую задачу определения правовой ответственности и поиска преступников.

Отмечается также и то, что легитимирующая функция эксгумаций и публикаций о них в прессе во многом основана на признании заслуг погибших и воздании почестей их родственникам, друзьям и товарищам по политическим убеждениям. Авторы подчеркивают фундаментальную роль эксгумаций в так называемой исторической памяти, а также тот факт, что они стали своеобразным призывом к действию для правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, стали тем знаменем, под которым объединились левые и националисты.

2.4. Стратегии и лексические средства легитимации и делегитимации религии во французских массмедиа

Изучение процесса легитимации и делегитимации является сравнительно новой областью исследования современной лингвистики. Однако в последнее время исследователи дискурс-анализа начали проявлять особый интерес к данной теме [Leeuwen, 2013; Schnurr, 2015; Galvon, 2016]. На современном этапе развития общества появляется все больше феноменов и явлений, ранее неприемлемых, но ставших вполне обыденными в жизни современных обществ, например, суррогатное материнство [Berend, 2012] или службы сопровождения лиц, желающих совершить самоубийство [Mauron, 2018]. Либо же, наоборот, то, что раньше являлось совершенно традиционным, у современных людей вызывает совершенно противоположную реакцию.

Религия — один из таких вопросов для современного французского общества. Во многом ажиотаж вокруг «религиозной» тематики связан с проблемами притока мигрантов и международным терроризмом. Именно в контексте миграционной политики и контртеррористических операций принципы секуляризма и нейтральности, традиционные для французского общества, вошли в некоторое противоречие с демократическими

ценностями, идеями «общего сада», в котором каждый может и должен чувствовать себя комфортно, несмотря на различия культур, традиций и вероисповеданий.

Франция имеет глубокие традиции построения светского общества. Стремление к отделению церкви от государства стало отчетливо просматриваться во французском обществе в эпоху Просвещения, а уже в «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. ясно и эксплицитно декларируется принцип, который В. Зюбер определила как принцип «институционального признания истинной гражданственности, единой для всех и независимой от религиозной идентичности каждого гражданина» [Zuber, 2017: 18]. В 1886 г. Жюль Ферри провозгласил принцип всеобщего образования, «государственного, бесплатного, светского и обязательного», а в декабре 1905 г. был принят закон об отделении церкви от государства, первая же статья которого гарантировала гражданам свободу совести, а вторая запрещала финансовую поддержку религиозных культов, движений со стороны государства. Однако в 2004 г. принимается закон, запрещающий ношение религиозных символов в школе, а в 2010 — «Закон о запрете на сокрытие лица», предусматривающий в том числе запрет и на ношение элементов одежды, связанных с вероисповеданием: хиджабов, никабов и т. д. Таким образом, стремление к обеспечению безопасности гражданского общества входит в определенное противоречие с принципами свободы вероисповедания и направления религиозных культов.

Отношение к религии во французском обществе еще более поляризировалось после серии терактов во Франции в 2015 г., ответственность за которые взяли террористические организации исламистского толка.

Как отмечается в [Everett, 2018: 441], «если ты француз, то наверняка находишься в одном из двух противоборствующих лагерей и при этом, в каком бы ты лагере ни был, ты либо параноик, либо страдаешь от депрессии, а, может, и то, и другое. Если ты поклонник еженедельника «Valeurs Actuelles» (издание консервативного толка), то ты искренне считаешь, что Франция превращается в исламистско-коммунистическую страну; если ты начинаешь утро с просмотра сайта Mediapart (информационный интернет-портал либеральной направленности), то ты уверен, что Франция стала фашистско-расистским адом. Хотя и то, и другое далеко от реальности, однако оба мнения имеют частицу правды и так

или иначе связаны с исламом и исламофобией» [Renton, 2017]. Последняя приобретает с каждым годом все больший размах, проникая во многие сферы жизни общества, что дает основания исследователям проводить параллели между отношением к мусульманам в современной Европе и антисемитизмом, особенно остро проявившим себя в середине XX в.

В складывающихся непростых условиях президент страны Э. Макрон стремится в рамках принципа нейтральности наладить диалог a priori светского государства с религиозными общинами, представителями различных религиозных культов в стране, ведя политику «светского общества, открытого к диалогу». Большая роль при этом отводится взаимодействию религиозных общин с местным населением, с локальными сообществами в регионах их проживания [Downing, 2016]

Таким образом, религия, для перемещения которой в категорию нейтральных социальных феноменов гражданское общество Франции приложило большие усилия, за несколько лет вновь оказалась в числе ключевых ценностных концептов современного политического дискурса, став объектом легитимирующих и делегитимирующих практик.

Специфика и стратегическая организация дискурса легитимации

Легитимация — это процесс, социальная практика, конечной целью которой является достижение легитимности социального или политического феномена в некотором сообществе. В литературе существуют широкий, узкий и специализированный подходы к определению данного ключевого термина. С точки зрения М. Сачмана [Suchman, 1995], социолога и специалиста по менеджмент-коммуникации, легитимация в самом общем смысле — это процесс, посредством которого некоторый феномен начинает восприниматься в социуме как желаемый, приемлемый, соответствующий его системе норм, ценностей и убеждений. В контексте дискурсивных исследований легитимация предстает как контекстно и культурно зависимая дискурсивная стратегия, позволяющая адаптировать политическое решение власти, понятое отторгаемое сообществом как несоответствующее его нормам и ожиданиям, таким образом, что данное решение начинает восприниматься как желательное, ценное и необходимое в сложившемся социально-политическом контексте [Колмогорова, 2018].

В связи с различными аспектами и стадиями процесса легитимации в социальных науках возник вопрос о том, какими средствами, прежде всего вербальными, они реализуются на практике. Известный дискурс-аналитик Т. ван Левен [Van Leeuwen, 2008] предложил четыре основных дискурсивных стратегии легитимации: стратегия апелляции к авторитету, стратегия моральной оценки, стратегия рационализации, мифопоэтическая стратегия. В дальнейшем мы будем опираться именно на вышеназванную типологию.

Главная цель — выявить специфику семантики и комбинаторики лексического окружения ключевых лексем *religion* и *religieux* в контекстах с отрицательной и положительной коннотацией и соотнести ее с четырьмя дискурсивными стратегиями (де) легитимации по Т. ван Левену.

Поставленная цель предусматривает решение ряда задач, а именно:

1) принимая во внимание поляризованность современного французского общества относительно самого концепта религии, выявить в материале два вида контекстов: с положительной и отрицательной коннотацией;

2) исходя из посылки о том, что «положительные» контексты соответствуют стратегиям легитимации, а «отрицательные» — делегитимации, обнаружить комбинаторные и семантические особенности лексем *religion* и *religieux* в контекстах легитимации и делегитимации;

3) соотнести особенности комбинаторики лексем с четырьмя дискурсивными стратегиями легитимации/делегитимации религии (по Т. ван Левену), используемыми французскими массмедиа.

Материалом для исследования послужили 66 статей, взятых с интернет-сайтов французской прессы общенационального уровня. В ходе сбора эмпирического материала мы придерживались определенных критериев:

1) использовались только французские новостные ресурсы национального значения;

2) все издания располагают мобильным приложением, которое читатели могут установить на свой телефон или иной гаджет, и имеют электронную версию;

3) заданный временной промежуток: 01.01.2008 — 31.12.2018;

4) лексемы *religion* и/или *religieux* должны употребляться и в заголовке, и в тексте статьи.

В качестве методов исследования использовался метод сплошной выборки, контекстуальный и компонентный виды анализа, а также приемы качественно-количественного анализа и метод дискурс-анализа.

В качестве источников материала было отобрано восемь газет:

1. Métro: входит в состав LCI (La Chaine Info). Публикуемые статьи затрагивают различные сферы общественной, культурной и политической жизни страны. Существует интернет-сайт (<https://www.lci.fr/>), а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (LCI Info en continu & Actualités en Direct).

2. La Tribune: первый выпуск газеты вышел 15 января 1985 г. Газета придерживается нейтральных взглядов. Это финансово-экономическая газета, публикующая фондовые показатели и анализирующая состояние рынков, а также сводку национальных, региональных и международных политических событий. Существует интернет-сайт (<http://www.latribune.fr/>), а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (La Tribune — journal).

3. L'Équipe: первый выпуск газеты вышел 28 февраля 1946 г. Газета является спортивной, статьи затрагивают популярные на сегодняшний день виды спорта и обозревает всевозможные спортивные соревнования по всему миру. Согласно статистике, за период с 2016 по 2017 г., количество отпечатанных номеров и подписок составляет 233 131 экземпляров в месяц. Существует интернет-сайт (<https://www.lequipe.fr/>), а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (L'équipe. Tout le sport en direct: foot, rugby).

4. Liberation: первый выпуск газеты вышел 22 мая 1973 г. Газета левого толка, приближенная к французской левоцентристской Социалистической партии. Согласно статистике, за период с 2016 по 2017 г., количество отпечатанных номеров и подписок составляет 75 824 экземпляра в месяц. Существует интернет-сайт (<https://www.liberation.fr/>), а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (Libération — Toute l'actualité). Тематика статей достаточно широка: культура, общество, экология или стиль жизни.

5. France Soir: газета публикует статьи, касающиеся экономики, культуры, политики и тенденций общественного развития. Существует интернет-сайт (<http://www.francesoir.fr/>), а также

приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (France Soir).

6. Le Figaro: первый выпуск газеты вышел 15 января 1826 г. и изначально она была еженедельной, позже трансформировалась в ежедневную. Газета правого толка, приближенная к французской правоцентристской Республиканской партии. Согласно статистике, за период с 2016 по 2017 г., количество отпечатанных номеров и подписок составляет 306 737 экземпляров в месяц. Спектр рубрик довольно разнообразен: от спорта и экономики до моды, культуры и стиля жизни. Существует интернет-сайт (<http://www.lefigaro.fr/>), а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (Le Figaro.fr: Actu en direct).

7. Les Echos: первый выпуск газеты вышел в 1908 г. и изначально она была ежемесячной, позже стала ежедневной. Газета придерживается либерально-консервативных взглядов, с «правым» уклоном. В основном, газета освещает вопросы экономики и финансов. Согласно статистике, за период с 2016 по 2017 г. количество отпечатанных номеров и подписок составляет 128 215 экземпляров в месяц. Существует интернет-сайт (<https://www.lesechos.fr/>), а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (Les Echos, l'info économique).

8. Le Monde: первый выпуск газеты вышел 18 декабря 1944 г. и изначально газета была ежемесячной, позже стала выходить ежедневно. Газета позиционирует себя как независимая, тем не менее часто пропагандирует левоцентристские идеи. Основные темы — экономика и финансы. Согласно статистике, за период с 2016 по 2017 г., количество отпечатанных номеров и подписок составляет 278 780 в месяц. Существует интернет-сайт (www.lemonde.fr) а также приложение для мобильных телефонов на базе операционных систем Android и iOS (Le Monde, l'info et continu).

Для исследования было отобрано 66 статей, соответствующих указанным выше критериям; суммарный объем статей составил 94 страницы печатного текста шрифтом Times New Roman 14 кеглем.

В ходе анализа эмпирического материала выделено 272 контекста, которые впоследствии были разделены на три группы: 76 контекстов попали в группу «контексты с положительной коннотацией», 113 — в группу «контексты с отрицательной

коннотацией» и еще 81 контекст был отнесен к группе «другое», так как подобные контексты не имели однозначной положительной или отрицательной оценочности. Контексты были поделены на группы на основе критерия «присутствие лексики с положительной или отрицательной оценочной тональностью», а также при помощи интраспективного анализа импликатур, представленных в анализируемых контекстах. В дальнейшем фактологическую базу исследования составили только контексты, попавшие в первые две группы. Суммарный объем изучаемых контекстов составил 189 сверхфразовых единств, или 5157 слов.

Полученная выборка была проанализирована на предмет наиболее частотных лексико-грамматических конструкций, представленных в ней. Кроме того, изучены лексико-семантические поля, присутствующие в текстовом материале, а также дискурсивные стратегии (де)легитимации религии, используемые журналистами — авторами статей.

Всего выявлено 232 грамматические конструкции, из которых 93 обнаружены в контекстах с положительной коннотацией, 139 — в контекстах с отрицательной коннотацией. Уточним, что контексты с положительной коннотацией априорно рассматривались как пространство развертывания стратегий легитимации религии, а контексты с негативной коннотацией — как пространство развертывания стратегий делегитимации религии. Последующее изложение будет структурировано в соответствии с данной логикой.

Конструкции в контекстах с положительной коннотацией распределились следующим образом: 20 конструкций отнесены к номинативным конструкциям, 35 — к предикативным, 38 конструкций — к адъективным. В каждой из данных групп выделены типовые конструкции, позднее распределенные на подгруппы (рис. 2).

Так, в группе с номинативными конструкциями было выделено две подгруппы с различными типами грамматических конструкций: *substantif + de + religion* и *substantif + préposition + religion*.

1. Substantif + de + *religion*

Выявлено 15 конструкций подобного типа, наиболее частотными из которых стали следующие: *question de la religion* — ‘вопрос религии’ (6) и *fonction de la religion* — ‘функция религии’ (4). Остальные примеры имели единичное употребление: *manifestation*

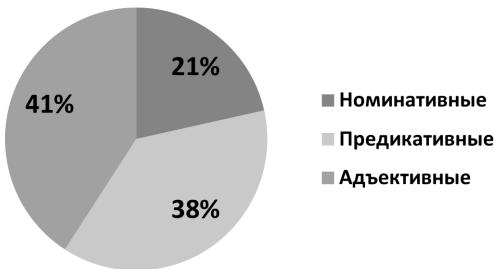


Рис. 2. Распределение грамматических конструкций в контекстах с положительной коннотацией

de la religion — ‘проявление религии’, *avis de la religion* — ‘мнение религии’, *liberté de la religion* — ‘свобода религии’, *cours de la religion* — ‘уроки религии’, *intervenant de la religion* — ‘религиозный деятель, верующий’.

2. Substantif + préposition + *religion*

Выявлено пять конструкций подобного типа, из которых наиболее частотной является конструкция *la lutte contre la religion* — ‘борьба против религии’ (4). Конструкция *appartenance à une religion* — ‘принадлежность к религии’ имела единичное употребление.

В группе с **предикативными конструкциями** выделено три подгруппы с различными типами грамматических конструкций: *religion* + verbe, verbe + *religion* и *religion* + être + substantif.

3. *Religion* + verbe

Выявлено 16 конструкций подобного типа, среди которых наиболее частотными коллокациями стали *la religion joue un rôle* — ‘религия играет роль’, *la religion coexiste* — ‘религия сосуществует’, *la religion a aussi son mot à dire* — ‘религии также есть, что сказать’.

4. Verbe + *religion*

Выделено всего 19 конструкций подобного типа, из которых наиболее частотной коллокацией является *exclure la religion* — ‘исключать религию’ (2). Оставшиеся примеры имели единичное употребление, например: *protéger la religion* — ‘защищать религию’, *discuter la religion* — ‘обсуждать религию’, *évoquer la religion* — ‘упоминать религию’.

5. Religion + être + substantif

Выявлено всего три конструкции подобного типа: *les religions sont des patrimoines* — ‘религии являются наследием’, *la religion est une source* — ‘религия является источником’, *la religion est un vecteur* — ‘религия является посредником’.

В группе с **адъективными конструкциями** выделено три подгруппы с различными типами грамматических конструкций: *religion + adj*, *substantif + religieux, adj + religion*.

6. Religion + adj (4): *religion catholique* — ‘католическая религия’, *religion dominante* — ‘доминантная религия’, *religion déterminée* — ‘определенная религия’, *religion monothéiste* — ‘монотеистическая религия’.

7. Substantif + religieux

Выделено 27 конструкций подобного типа. Это наиболее многочисленная группа примеров из указанных трех. Наиболее частотными являются следующие конструкции: *liberté religieuse* — ‘религиозная свобода’ (8), *fait religieux* — ‘религиозный факт’ (5), *monuments religieux* — ‘религиозные памятники’ и *persécution religieuse* — ‘религиозное преследование’ (по четыре примера), оставшиеся примеры появились в контекстах по одному разу, например: *haine religieuse* — ‘религиозная ненависть’, *enseignement religieux* — ‘религиозное образование’, *pratique religieuse* — ‘религиозная практика’.

8. Adj + religion

Выявлено шесть конструкций подобного типа: *sa religion* — ‘его / ее религия’ (2), *toutes les religions* — ‘все религии’, *autre religion* — ‘другая религия’, *propre religion* — ‘собственная религия’, *differentes religions* — ‘разные религии’.

Конструкции в контекстах с отрицательной коннотацией распределились следующим образом: 26 конструкций имеют номинативный характер, 42 — предикативный, 71 — адъективный. В каждой из этих групп выделены типовые конструкции, которые позднее были распределены на подгруппы (рис. 3).

Так, в группе номинативных конструкций было выделено две подгруппы: *substantif + de + religion* и *substantif + préposition + religion*.

1. Substantif + de + religion

Выявлена 21 конструкция подобного типа. Наиболее частотными стали две коллокации: *retour du religieux* — ‘возвращение религии’ (7) и *critique des religions* — ‘критика религий’ (2).

Остальные примеры имели единичное употребление, например: *censure de la religion* — ‘цензура религии’, *problème du religieux* — ‘проблема религии’, *question de la religion* — ‘вопрос религии’.

2. *Substantif + préposition + religion* (5): *rivalité entre religions* — ‘конкуренция между религиями’ (2), *la paix avec la religion* — ‘при-мирение с религией’, *impôt sur la religion* — ‘налог на религию’, *questionnement dans la religion* — ‘сомнение в религии’.

В группе предикативных конструкций выделено четыре под-группы: *religion + verbe*, *verbe + religion*, *religion + être + participe passé* и *religion + être + substantif*.

3. *Religion + verbe*

Из 13 конструкций подобного типа наиболее частотными коллокациами оказались *la religion relégué le chômage au second rang* — ‘религия отодвигает безработицу на второй план’ (4), *la religion revient* — ‘религия возвращается’ (3), *les religions prennent une place trop importante* (3) — ‘религии занимают слишком важное место’.

4. *Verbe + religion*

Среди 18 конструкций подобного типа наиболее частотными оказались следующие коллокации: *rester indifférent à la religion* — ‘оставаться безразличным к религии’ (4), *payer l’impôt sur la religion* — ‘платить налог на религию’ (3), *évoquer la religion dans la sphère publique* — ‘упоминать религию в общественной среде’ (3), *pratiquer leur religion* — ‘исповедовать свою религию’ (2).

5. *Religion + être + participe passé* (4): *les religions sont contrôlées* — ‘религии контролируются’, *la religion est-elle affirmée* — ‘признается ли религия’, *sa religion avait considérée cela comme un*



Рис. 3. Распределение грамматических конструкций в контекстах с отрицательной коннотацией

obstacle — ‘его религия рассматривала это как препятствие’, *leur religion soit lavée de tout soupçon* — ‘чтобы их религия была избавлена от каких бы то ни было подозрений’.

6. *Religion + être + substantif*

Выделено 7 конструкции подобного типа: *la religion c'est l'opium* — ‘религия является опиумом’ (2), *la religion est une source* — ‘религия является источником’ (2), *la religion est un vecteur* — ‘религия является посредником’ (2), *la religion est une névrose infantile* — ‘религия — детский невроз’ (1).

В группе адъективных конструкций выделено три подгруппы: *religion + adj*, *substantif + religieux*, *adj + religion*.

7. *Religion + adj: religion catholique* — ‘католическая религия’, *religion perçue comme* — ‘религия воспринимаемая как’, *religions reconnues* — ‘известные, принятые религии’.

8. *Substantif + religieux*

Это наибольшая подгруппа из трех (66). Наиболее частотными являются такие коллокации, как *liberté religieuse* — ‘религиозная свобода’ и *signe religieux* — ‘религиозный знак’ (по восемь примеров), *fait religieux* — ‘религиозный факт’ (6), *convictions religieuses* — ‘религиозные убеждения’ (5), *violence religieuse* — ‘религиозное насилие’ (3), *appartenance / croyance / pratique* — ‘религиозная принадлежность / вера / практика’ (по два примера). Оставшиеся коллокации имели единичное употребление, например: *revendication religieuse* — ‘религиозное требование’, *caractère religieux* — ‘религиозный характер’, *activité religieuse* — ‘религиозная деятельность’.

9. *Adj + religion* (2): *sa religion* — ‘его / ее религия’, *diverses religions* — ‘различные религии’.

Мы проанализировали лексико-грамматические конструкции, содержащиеся в контекстах с положительной и отрицательной коннотацией и пришли к выводу, что наиболее часто используемые конструкции в данных контекстах — адъективные (41 и 51 % от всех лексико-грамматических конструкций в контекстах с положительной и отрицательной коннотацией соответственно). Это может означать, что для журналистов особую важность представляет описательная характеристика религиозного феномена, установление ассоциативной связи между социальными и психологически важными концептами и религией при помощи конструкций типа *religion + adjective* или *substantif + religieux*. Так, негативная оценка осуществляется преимущественно за счет

вовлечения каких-либо негативных явлений общества в «орбиту» религиозной проблематики при помощи использования относительного прилагательного *religieux* (*choc religieux, problèmes religieux, revendications religieuses*). Таким образом устанавливается устойчивая ассоциативная связь между кризисными точками общественной жизни и религией.

Позитивная оценка, напротив, опирается на концептуализацию религии в качестве активного субъекта или объекта деятельности, способствуя созданию ее динамического образа как двигателя или результата деятельности (*religion joue un rôle, appelle, initie*). Атрибутивные конструкции реализуют дефинирующую стратегию, помещая религию в число значимых категорий общественной жизни (*les religions sont les patrimoines*).

Однако относительно самих типов лексико-грамматических конструкций, использованных в контекстах с положительной и отрицательной коннотацией, значительных отличий обнаружено не было.

Следующей задачей стал анализ лексико-семантических полей, организующих текстовое пространство, отмеченное положительной и отрицательной оценочной тональностью.

Под лексико-семантическим полем понимается «совокупность языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [Кобозева, 2000: 98].

На основе лексем, составляющих ближайший лексический контекст ключевых слов *religion* и *religieux* в исследуемых примерах, нам удалось выявить лексико-семантические поля, доминирующие в контекстах с разной коннотацией.

Так, в контекстах с положительной коннотацией было выделено четыре лексико-семантических поля (далее — ЛСП), связанных с идеями личной позиции социального субъекта, ограничения, сотрудничества, а также демонстрации чего-либо.

Рассмотрим примеры лексических единиц, входящих в каждое из полей:

- Позиция социального субъекта: *penser* — ‘думать’, *proposer* — ‘предлагать’, *croire* — ‘считать’, *haine* — ‘ненависть’, *avis* — ‘мнение’, *conviction* — ‘убеждение’, *neutralité* — ‘нейтралитет’, *appartenance* — ‘принадлежность’, *considérer comme* — ‘считать каким-то’, *discrimination* — ‘дискриминация’, *traitement* — ‘отношение’.

В нижеследующем пассаже политолог В. Зюбер, анализируя речь президента Франции Э. Макрона, отмечает, что глава страны, не отступая от принципов секулярности, призывает верующих и атеистов объединиться на благо общего политического будущего страны. При этом В. Зюбер употребляет разнообразные лексические единицы, относящиеся к анализируемому ЛСП: *penser, conviction, proposer, croyance*.

27) *Il pense que les sphères temporelle et spirituelle peuvent coopérer utilement. Il utilise le vocabulaire religieux pour se faire comprendre de ses interlocuteurs, mais en donnant toujours un équivalent laïc. Il redit ainsi sa conviction qu'il existe un idéal qui transcende l'homme. Les catholiques y verront une transcendance divine; lui parle d'absolu, mot qu'il utilise aussi à propos du geste d'Arnaud Beltrame. Il propose ainsi de dépasser une société qui oublierait les devoirs de chacun envers l'humanité. Il ne se fait pas juge de l'intensité des croyances, mais appelle à une mobilisation de tous dans une action politique visant au bien commun* (Zuber V. «Valentine Zuber «Une laïcité qui n'entend pas exclure le religieux»).

• Ограничение: *persécution* — ‘преследование’, *cacher* — ‘прятать’, *exclure* — ‘исключать’, *interdire* — ‘запрещать’, *limiter* — ‘ограничивать’, *refuser* — ‘отказывать’. В уже процитированной статье В. Зюбер находим:

28) *Cette vision est libérale, il s'agit d'une laïcité qui n'entend pas exclure le religieux de l'espace public, et qui n'y est pas non plus indifférente* — ‘Эта позиция либеральна. Речь идет о секуляризме, который не намерен исключать религиозность из публичного пространства и тем более не демонстрирует безразличие в отношении нее’ (Zuber V. «Valentine Zuber «Une laïcité qui n'entend pas exclure le religieux»).

• Сотрудничество: *parler* — ‘разговаривать’, *inclure* — ‘включать’, *coexister* — ‘существовать’, *dialoguer* — ‘вести диалог’, *discuter* — ‘обсуждать’, *contribuer* — ‘вносить вклад’. Так, обсуждая в издании «*La Libération*» позицию Э. Макрона в отношении концепта «светское государство», политолог Б. Портье отмечает (пр.29), что Э. Макрон вызвал оживление в рядах так называемых сторонников «объединяющей светскости» в тот момент, когда осудил саму идею радикальной светскости. По словам Ф. Портье, «он повторил свою мысль о том, что мы должны говорить об открытой к диалогу светскости»:

29) *Macron a provoqué des réactions très vives de la part du camp des «laïcs intégralistes» quand il a dénoncé la «radicalisation de la*

laïcité. Il a répété que la laïcité devait être de dialogue, d'accueil, et non pas d'exclusion (Sauvaget B. «Pour Macron, l'Etat n'a pas toujours raison sur les religions»).

• Демонстрация: *évoquer* — ‘упоминать’, *afficher* — ‘выставлять напоказ’, *manifester* — ‘открыто проявлять’, *manifestation* — ‘открытое проявление’, *représenter* — ‘представлять собой’, *pratiquer* — ‘практиковать’. Согласно результатам опроса 1000 работников французских предприятий, проведенного по заказу общественной организации «Движение предприятий Франции», одной из главных проблем современных французских трудящихся является страх подвергнуться дискриминации из-за своих религиозных убеждений (пр. 30). Это ставит отношение к религии в сфере трудовых отношений в число важнейших проблем, требующих решения:

30) *Au-delà des discriminations liées au sexe et à l'âge, en tête des préoccupations des salariés en la matière, celles liées au fait d'afficher sa religion, à l'apparence physique et à l'état de santé sont devenues des «chantiers urgents pour l'entreprise», note le Medef dans sa synthèse* — ‘Помимо дискриминации по полу и возрасту, проблемы, занимающие работников, связаны также с демонстрацией своего вероисповедания, внешностью и состоянием здоровья, и они стали «важными проблемами для предприятия», — отмечает в своем отчете «Движение предприятий Франции» (*Afficher sa religion, un facteur de plus en plus discriminant en entreprise*).

В контекстах с отрицательной коннотацией были выделены ЛСП «позиция социального субъекта», «ограничение» и «воля и власть».

• Ограничение: *séparation* — ‘отделение’, *persécution* — ‘преследование’, *reléguer* — ‘отодвигать (на задний план)’, *instrumentaliser* — ‘использовать что-то в качестве инструмента’, *critique* — ‘критика’, *refus* — ‘отказ’, *censure* — ‘цензура’, *séparer* — ‘отделять’, *contrôler* — ‘контролировать’, *interdire* — ‘запрещать’, *refuser* — ‘отказывать’, *encadrer* — ‘ограничивать’, *confronter* — ‘противостоять’, *irruption* — ‘вторжение’. Так, в издании *La Libération* появилась заметка, привлекающая внимание читателей к вынесенному гамбургским судом запрету на показ фильма о сексуальных домогательствах, которым регулярно подвергались монахини. В текст включен ряд лексических единиц, репрезентирующих данное ЛСП:

31) *Personne ne s'attendait à cette censure. Et pour l'heure, rien n'indique qu'elle sera levée, ni, si c'est le cas, à quelle échéance. Le 20*

mars, le tribunal de Hambourg, en Allemagne, a estimé — mais sans que cela ne soit rendu public à ce moment-là — qu’Arte devait suspendre illico la diffusion du documentaire «Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise». Une enquête approfondie qui a provoqué un immense choc, particulièrement dans les milieux catholiques («Religieuses abusées: une censure inexplicable»).

• Воля и власть: *paix* — ‘мир’, *guerre* — ‘война’, *autorité* — ‘власть’, *conflict* — ‘конфликт’, *dominer* — ‘доминировать’, *manipulation* — ‘манипуляция’, *être violent* — ‘быть жестоким’. Предваряя интервью с Ф. Сен-Клером, политологом, специалистом по политическим коммуникациям, журналисты издания «Le Figaro» отмечают, что, по словам политолога, правые должны бороться не только с тем исламом, который имеет политический или террористический оттенок, но и противостоять пропаганде исламской культуры. Обращают на себя внимание (пр. 32) лексемы *combattre* и *lutter*, актуализирующие идею намеренных действий с целью уничтожения или ослабления противостоящих сил:

32) Pour le politologue, la droite ne doit pas seulement combattre l’islam politique ou terroriste, mais doit lutter contre la propagation de l’islam culturel: celui du halal ou du port du voile qui conduit au séparatisme territorial et culturel (Sugy P. «Frédéric Saint Clair: «La droite doit penser le séparatisme culturel islamiste»).

• Позиция социального субъекта: *conviction* — ‘убеждение’, *motif* — ‘мотив’, *neutralité* — ‘нейтральность’, *raison* — ‘причина’, *revendication* — ‘требование’, *appartenance religieuse* — ‘вероисповедание’, *considérer* — ‘полагать’, *rester indifférent* — ‘оставаться безразличным’. Например, издание «Le Figaro» упрекает государство в сокрытии реальных цифр, указывающих на число мусульман, проживающих во Франции. По мнению журналистов, статистически валидным подсчетам мешает запрет на официальный сбор данных о вероисповедании граждан, существующий во Франции:

33) L’appartenance religieuse des Français est difficile à évaluer car la loi interdit à l’Etat d’établir des statistiques officielles (Vampouille Th. «France: comment est évalué le nombre de musulmans»).

Далее мы сопоставили ЛСП, обнаруженные в контекстах с положительной коннотацией и в контекстах с отрицательной коннотацией (рис. 4).

Сравнительный анализ показал, что ЛСП «позиция социального субъекта» и «ограничение» являются общими для двух типов контекстов. ЛСП «демонстрация» и «сотрудничество» были



Рис. 4. Сравнение лексико-семантических полей в контекстах с отрицательной и положительной коннотацией

обнаружены только в контекстах с положительной оценочностью, а лексемы ЛСП «воля и власть» присутствовали только в контекстах с отрицательной оценочностью.

Дальнейшим шагом стало выявление доминирующих стратегий легитимации и (де)легитимации религии в выборке массмейдийных контекстов.

В результате дискурсивного анализа в авторском исследовательском корпусе обнаружено 66 контекстов, в которых проявилась та или иная стратегия (де)легитимации: 27 из них представляют собой контексты с положительной коннотацией, 39 — с отрицательной. Каждый из контекстов отнесен к той или иной стратегии и субстратегии (де)легитимации (рис. 5).

Стратегии легитимации в контекстах с положительной оценочностью распределились следующим образом: стратегия апелляции к авторитету была обнаружена в 15 контекстах, стратегия моральной оценки — в 7 контекстах и стратегия рационализации — в 5 контекстах. Рассмотрим каждую из стратегий и субстратегий отдельно (рис. 5).

В контекстах с отрицательной коннотацией дискурсивные стратегии делегитимации распределились аналогично: стратегия апелляции к авторитету проявила себя в 32 контекстах, стратегия моральной оценки — в шести контекстах и стратегия рационализации — всего в одном контексте (рис. 5).

Как для целей легитимации, так и делегитимации религии чаще всего во французских массмедиийных текстах использовалась

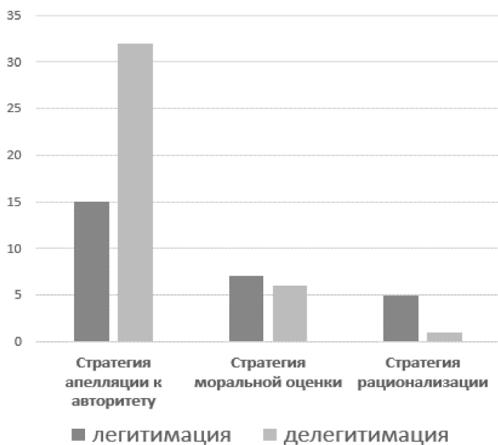


Рис. 5. Соотношение стратегий (де)легитимации в контекстах с положительной и отрицательной коннотацией

стратегия апелляции к авторитету в ее различных субстратегиях: апелляция к личному авторитету человека, который имеет высокий социальный статус и играет значимую роль в обществе; апелляция к авторитету эксперта в области социальных отношений или религиозных доктрин и апелляция к «безличному» авторитету некоторой структуры, общественного института или существующей нормы.

Последняя субстратегия оказалась наиболее частотной. Примеры 34 и 36 иллюстрируют специфику использования данной субстратегии стратегии апелляции к авторитету для целей делегитимации, а пример 35 — для легитимации религии во французском обществе. Так, публицист и общественный деятель С. Пина в интервью изданию *Le Figaro* открыто высказалась против намерения Э. Макрона инициировать поправки в легендарный закон 1905 г., провозглашающий принцип секуляризма в качестве основы французского государства. Она подчеркнула, что этот закон и есть «тот камушек в тоталитарном башмаке» исламистов, который изрядно мешает им окончательно поменять устои французского общества:

34) *Si on ne peut que partager les inquiétudes concernant l'influence des islamistes que le gouvernement met en avant pour modifier la loi de 1905, il est étonnant d'y répondre en s'attaquant justement à cette loi-là,*

dont la dimension symbolique en fait la bête noire de tous les intégrismes. À juste titre tant cette loi est de par son intitulé même un caillou dans la chaussure totalitaire des islamistes (Sugy P. «Céline Pina: «La loi de 1905 est trop symbolique pour être retouchée!»);

35) *Une étude menée par l'association Coexister auprès de 2000 collégiens et lycéens relève que les jeunes associent des mots-clés plutôt bienveillants aux trois religions monothéistes, et à l'athéisme* — ‘Опрос, проведенный ассоциацией «Жить вместе» среди 2000 учеников средней и старшей школы, показывает, что у молодых людей преобладают положительные ассоциации как с тремя монотеистическими религиями, так и с атеизмом’ (*Les jeunes auraient peu de préjugés à l'égard des religions*).

Французские журналисты, стремясь обосновать присутствие религиозных практик и культов или, наоборот, поставить под сомнение необходимость их институционального проникновения во французское светское общество, предпочитают ссылаться на так называемый безличный авторитет некоего свода законов (пр. 34, 36), статистических данных (пр. 35), поскольку именно эти инстанции выступают гарантами объективности и непредвзятости высказываемого массмедиа мнения:

36) *La loi ne protège pas la religion elle-même ni ses attributs contre des critiques qui en France relèvent du débat d'idées* — ‘Закон не защищает ни саму религию, ни ее атрибуты от критики, ставшей результатом активного общественного обсуждения во Франции’ (Chenet Ch. «Oui, on a le droit de blasphemer!»).

Субстратегия апелляции к авторитету эксперта в области объекта легитимации — следующая субстратегия по частотности в обоих подкорпусах. В обсуждаемом тематическом контексте в случае легитимирующего подтекста она опирается на мнение религиозных деятелей (например, главы Католической церкви (пр. 37)) и тех, кто связан с различными религиозными организациями. Так, на фоне растущего недовольства граждан страны увеличением влияния ислама на общественную жизнь сторонники межконфессионального диалога и дальнейшей интеграции религиозных практик в структуру общества обращаются к авторитету папы Римского:

37) *Mais il est tout aussi fondamental de «prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter (...) à la création d'un consensus éthique» dans la société, a ajouté le souverain*

pontife. — ‘Но не менее важно «более четко осознавать важнейшую роль религии в формировании мировоззрения людей и не забывать о том вкладе, который она может внести (...) в создание этического согласия» в обществе, — добавил понтифик’ (*«Les phrases du jour»*).

А в случае импликатуры, носящий делегитимирующий характер, в качестве экспертов выступают политологи и специалисты в области наук об обществе и человеке. Так, во время обсуждения полемики двух кандидатов в президенты Коста-Рики на страницах *«Le Monde»* французские журналисты не скрывают своей симпатии к Карлосу Альварадо, активно выступающему за светское государство и демократические свободы, в частности за легализацию однополых браков. На фоне своего соперника, активно поддерживаемого религиозными деятелями страны, Карлос Альварадо, по мнению журналистов, смотрится выгоднее, поскольку предлагает ряд важных экономических решений. Для вербализации тезиса о том, что религия никогда не сможет потеснить в умах обычных людей такие важные вопросы, как экономические проблемы и безработицу, привлекается известный политолог (пр. 38):

38) *«Jamais la religion n'avait relégué l'économie ou le chômage [9,3 %] au second rang», explique le politologue Claudio Alpizar* (Saliba F. *«Présidentielle au Costa Rica: la religion divise le pays»*).

В легитимирующих контекстах в качестве человека, имеющего высокий социальный статус, к авторитету которого аппелируют французские журналисты в рамках стратегии апелляции к авторитету, чаще всего выступает президент Пятой французской Республики Э. Макрон (пр. 39):

39) *La laïcité à la française n'est pas «une lutte contre la religion», a souligné aujourd'hui le président français Emmanuel Macron, en exprimant longuement sa vision de cette spécificité nationale, à l'issue d'une rencontre avec le pape François* — ‘Светскость по-французски — это не «борьба против религии», — подчеркнул сегодня президент Франции Э. Макрон в своей речи, посвященной особенностям французской ментальности, произнесенной после встречи с папой Франциском’ (*«Macron: la laïcité n'est pas la lutte contre la religion»*).

В контекстах же, призванных минимизировать влияние религии на общественную жизнь или выявить ее негативные социальные последствия, в качестве таких авторитетов выступают

известные личности, чей статус «властителей дум» уже непререкаем. Таков, например, статус З. Фрейда:

40) *La religion est «comparable à une névrose infantile», jugeait Freud* — ‘Религия «сравнима с детским неврозом», полагал Фрейд’ («*La religion du capital ou le capital de la religion*»).

Другая стратегия (дe)легитимации религии — стратегия моральной оценки — реализуется в легитимирующих текстах преимущественно за счет субстратегий абстрагирования и оценки, а в делегитимирующих — посредством субстратегий аналогии и оценки.

Субстратегия абстрагирования сфокусирована на том, чтобы представить объект легитимации (религию) через призму более абстрактных и глобальных явлений. Рассуждая о том, почему молодежь становится легкой жертвой вербовщиков-джихадистов, психоаналитик Л. Ламуан в интервью изданию *La Libération* раскрывает сущность религиозного чувства посредством включения его в более объемлющую категорию — категорию идеального:

41) *Le religieux vient là répondre à un besoin d'idéalisation, souvent un peu paranoïaque ou mélancolique* — ‘Религия приходит туда для того, чтобы удовлетворить потребность в идеализации, часто немного пааноидальной или меланхоличной’ (Sauvaget B. Laurent Lemoine: «*Nous vivons malheureusement un retour du religieux, pas du spirituel*»).

Субстратегия оценки обычно независимо от того, идет ли речь о стратегиях легитимации (пр. 42) или, наоборот, делегитимации (пр. 43), выстраивается на основе многочисленных оценочных прилагательных, реализующих зачастую грамматическое значение сравнительной или превосходной степеней:

42) *La religion joue un rôle beaucoup plus important dans la vie publique et intellectuelle, écrivent-ils* — ‘По их словам, религия играет намного более важную роль в общественной и интеллектуальной жизни’ («*La religion du capital ou le capital de la religion*»).

Рассказывая о щедром финансировании религиозного индуистского праздника Кумбха Мела, осуществляемом с подачи действующего премьер-министра Индии за четыре месяца до выборов, французские журналисты подчеркивают, что грандиозность события напрямую обусловлена той политической выгодой, которую позднее извлекут из этого правящая партия и ее лидер. Тем самым, проецируя данную ситуацию на Францию, журналисты издания *Le Monde* стремятся дискредитировать идею сторонников

интеграции общественной и религиозной жизни во французском государстве, традиционно построенном на принципах секуляризма. Подчеркивая масштабность праздника (пр.43), медиапредники как бы привлекают внимание к политической манипуляции, которая, возможно, в нем просматривается:

43) *En ce début 2019, Jupiter transite par le signe du Bélier, tandis que le Soleil et la Lune s'installent en Capricorne. Selon la configuration astrologique, le temps est donc venu pour la ville d'Allahabad, récemment rebaptisée Prayagraj par les nationalistes hindous au pouvoir dans la plaine du Gange, d'accueillir la Kumbh Mela, l'un des rassemblements religieux les plus impressionnantes au monde, qui se tient tous les six ans — ‘Начало 2019 года ознаменовано тем, что Юпитер находится в Овне, а Солнце и Луна — в Козероге. Это означает, что по астрологическим меркам пришло время для одного из самых грандиозных религиозных праздников Кумбха Мела, отмечаемого каждые шесть лет. Город-хозяин праздника Аллахабад, недавно переименованный в Праяг, готовится принять индуистов-националистов, составляющих правящее большинство в долине Ганга’* (Delacroix G. «Le pèlerinage de la Kumbh Mela, ou quand politique et religion font bon ménage»).

Делегитимирующая субстратегия аналогии строится на сближении некоторых явлений, ценностей и феноменов. В результате часть характеристик явления-источника переходит к явлению-мишени (пр. 44). Так, после теракта на химическом заводе в Сен-Кантен-Фаллавье в июне 2015 года премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал сложившуюся ситуацию взаимоотношений ислама и демократических ценностей Франции «цивилизационной войной». Издание Le Figaro сразу же вспомнило о том, что первым из политиков это словосочетание употребил президент США Дж. Буш, начав войну с Ираком. Журналисты использовали аналогию для того, чтобы подчеркнуть глубину конфликта и сложность ситуации, вызванной проникновением ислама и его радикальных последователей в Европу:

44) *En mettant en garde dimanche contre une «menace terroriste majeure» s'inscrivant dans «la durée», le premier ministre, Manuel Valls, qui évoquait Daech et ses attaques, a parlé pour la première fois de «guerre de civilisation». «Nous ne pouvons pas perdre cette guerre, parce que c'est au fond une guerre de civilisation», a-t-il expliqué au «Grand Rendez-vous Europe 1-i-Télé-Le Monde». Controversée, l'expression «choc des civilisations» a été façonnée par les néoconservateurs*

américains depuis l'essai de Samuel Huntington, enseignant à Harvard: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, paru en 1996. Elle a été reprise par George Bush pour légitimer la guerre en Irak et la lutte contre le terrorisme ... (De Royer S. «Islamisme: Manuel Valls irrite la gauche en parlant d'une «guerre de civilisation»).

Дискурсивная стратегия рационализации реализуется в легитимирующих контекстах преимущественно посредством субстратегий определения (пр.45):

45) *Car, en cette ère de mutation rapide, la religion est source de certitude, d'identité et de reconnaissance —* ‘Так как, в эту эпоху быстрых изменений, религия является источником уверенности, самоопределения и признания’ (*«La religion du capital ou le capital de la religion»*).

А в рамках делигитимирующих стратегий — при помощи субстратегии предсказания:

46) *Oui, je crains que le retour du religieux ne débouche sur un retour de politique autoritaire —* ‘Да, я боюсь, что возвращение религии может привести к возвращению авторитарной политики’ (*Sauvaget B. Laurent Lemoine: «Nous vivons malheureusement un retour du religieux, pas du spirituel»*).

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Вопросы религии сегодня горячо обсуждаются во французском обществе. С одной стороны, ярко прослеживается тенденция к исламофобии, с другой — правящей политической элитой предпринимаются попытки наладить диалог между обществом и конфессиональными общинами, не нарушая принципа нейтральности и секулярности. Тем не менее пока негативная оценка сферы религиозного превалирует над позитивной. Она осуществляется преимущественно за счет включения каких-либо негативных явлений общества в «орбиту» религиозной проблематики при помощи использования относительного прилагательного *religieux* (*choc religieux, problèmes religieux, revendications religieuses*). Таким образом, устанавливается устойчивая ассоциативная связь между кризисными точками общественной жизни и религией.

Позитивная оценка же опирается преимущественно на концептуализацию религии в качестве активного субъекта или объекта деятельности, способствуя созданию ее динамического образа как движущего мотива или результата деятельности (*religion joue un rôle, appelle, initie*). Атрибутивные конструкции реализуют

дефинирующую стратегию, помещая религию в число значимых категорий общественной жизни (*les religions sont les patrimoines*). Адъективные сочетания призваны подчеркнуть важность и значимость феномена религии в общественной жизни современного общества.

2. Контексты с положительной и с отрицательной коннотацией обнаруживают как общие, так и отличные ЛСП. Так, ЛСП «позиция социального субъекта» и «ограничение» являются точками пересечения в контекстах с положительной и отрицательной оценочностью. В то же время ЛСП «демонстрация» и «сотрудничество» были обнаружены только в контекстах с положительной оценочностью, а ЛСП «воля и власть» — только в контекстах с отрицательной оценочностью.

3. Дискурсивной стратегией, наиболее часто используемой как для легитимации, так и для легитимации религии, является стратегия апелляции к авторитету. В рамках данной стратегии в качестве «авторитета» во всех типах контекстов чаще всего ссылаются на закон, государственную структуру, социальный институт. В качестве экспертов, к мнению которых предлагаю прислушаться, в делегитимирующих стратегиях выступают специалисты в области общественных наук, а в легитимирующих стратегиях — религиозные деятели. В делегитимирующих религию контекстах дискурсивная стратегия рационализации представлена в меньшей степени, чем в легитимирующих.

Список литературы

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 352 с.

Колмогорова А. В. Дискурсивные стратегии легитимации однополых браков в российском медиапространстве // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. Вып. 2. С. 99–117. DOI 10.17516/2311-3499-021

Mauron A. «L'assistance au suicide en Suisse: ses particularités éthiques et historiques», Droit et cultures [En ligne], 75 |2018/1, mis en ligne le 03 mai 2018, consulté le 26 janvier 2019. URL: <http://journals.openedition.org/droitcultures/4424>

Berend Z. The romance of surrogacy // Sociol.Forum. 2012. Vol. 27. Pp. 913–936.

Downing J. Influences on state-society relations in France: Analysing voluntary associations and multicultural dynamism, co-option and retrenchment in Paris, Lyon and Marseille // Ethnicities. 2016. Vol. 16. Issue 3. Pp. 452-469.

Everett S. S. Interfaith Dialogue and Faith-Based Social Activism in a State of Emergency: laïcité and the Crisis of Religion in France // Int. J. Polit. Cult.Soc. 2018. Vol. 31. Pp. 437–454. DOI: 10.1007/s10767-018-9291-0

Galvon R. T., & Guevara Beltrán M. T. Discourse of legitimization and loss of sons who stay behind // Discourse and Society. 2016. Vol. 27(94). Pp. 423- 440.

Renton J. Antisemitism and Islamophobia in Europe. Palgrave Macmillan, 2017. 313 p.

Schnurr S., Homolar A., MacDonald M. N., & Rethel L. Legitimizing claims for “crisis” leadership in global governance: The discourse of nuclear non-proliferation // Critical Discourse Studies. 2015. Vol. 12(2). Pp. 187-205.

Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of Management Revue. 1995. Vol. 20. № 3. P. 571-610. doi:10.5465/AMR.1995.9508080331.

Zuber V. La laïcité en débats. Edition Le Cavalier Bleu, 2017. 190 p.

Van Leeuwen T. Discourse and Practice: New tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford University Press, 2008. 192 p.

Van Leeuwen T. Legitimation in Discourse and Communication //R. Wodak (ed.), Critical Discourse Analysis: Concepts, History, Theory. Vol. 1, SAGE Publications, London, SAGE Benchmarks in Language and Linguistics, 2013. Pp. 327-350.

Список источников примеров

Sauvaget B. «V. Zuber «Avec Emmanuel Macron, nous sommes dans une laïcité de collaboration». URL: https://www.liberation.fr/france/2018/01/05/valentine-zuber-avec-emmanuel-macron-nous-sommes-dans-une-laicite-de-collaboration_1620664 (consulté le 29 janvier 2019).

Zuber V. «Valentine Zuber «Une laïcité qui n’entend pas exclure le religieux». URL: https://www.liberation.fr/debats/2018/04/10/valentine-zuber-une-laicite-qui-n-entend-pas-exclure-le-religieux_1642516 (consulté le 28 janvier 2019).

Sauvaget B. «Pour Macron, l'Etat n'a pas toujours raison sur les religions». URL: https://www.liberation.fr/debats/2018/03/11/pour-macron-l-etat-n-a-pas-toujours-raison-sur-les-religions_1635350 (consulté le 29 janvier 2019).

«Afficher sa religion, un facteur de plus en plus discriminant en entreprise». URL: <https://www.latribune.fr/economie/france/afficher-sa-religion-un-facteur-de-plus-en-plus-discriminant-en-entreprise-511460.html> (consulté le 19 janvier 2019).

«Religieuses abusées: une censure inexplicable». URL: https://www.liberation.fr/planete/2019/04/29/religieuses-abusees-une-censure-inexplicable_1724080 (consulté le 2 janvier 2019).

Sugy P. «Frédéric Saint Clair: «La droite doit penser le séparatisme culturel islamiste». URL: <http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2018/04/27/31004-20180427ARTFIG00336-frederic-saint-clair-la-droite-doit-penser-le-separatisme-culturel-islamiste.php> (consulté le 9 janvier 2019).

Vampouille Th. «France: comment est évalué le nombre de musulmans». URL: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php> (consulté le 25 janvier 2019).

Chanet Ch. «Oui, on a le droit de blasphemer!». URL: https://www.liberation.fr/societe/2015/02/24/oui-on-a-le-droit-de-blasphemer_1209248 (consulté le 29 janvier 2019).

«Les jeunes auraient peu de préjugés à l'égard des religions». URL: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/12/18/01016-20171218ARTFIG00235-les-jeunes-auraient-peu-de-prejuges-a-l-egard-des-religions.php> (consulté le 22 janvier 2019).

Sugy P. «Céline Pina: «La loi de 1905 est trop symbolique pour être retouchée!». URL: <http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2019/01/04/31004-20190104ARTFIG00267-celeine-pina-la-loi-de-1905-est-trop-symbolique-pour-etre-retouchee.php> (consulté le 21 janvier 2019).

«Les phrases du jour». URL: <http://www.leparisien.fr/archives/les-phrases-du-jour-13-09-2008-220253.php> (consulté le 28 janvier 2019).

Saliba F. Présidentielle au Costa Rica: la religion divise le pays. URL: https://www.lemonde.fr/international/article/2018/03/30/la-religion-divise-le-costa-rica-avant-la-presidentielle_5278560_3210.html (consulté le 23 janvier 2019).

«Macron: la laïcité n'est pas la lutte contre la religion». URL: <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/26/97001-20180626>

FILWWW00342-macron-la-laicite-n-est-pas-la-lutte-contre-la-religion.php (consulté le 19 janvier 2019).

«La religion du capital ou le capital de la religion». URL: <https://www.latribune.fr/opinions/20090629trib000393837/la-religion-du-capital-ou-le-capital-de-la-religion.html> (consulté le 29 janvier 2019).

Sauvaget B. Laurent Lemoine: «Nous vivons malheureusement un retour du religieux, pas du spirituel». URL: https://www.liberation.fr/debats/2018/05/25/laurent-lemoine-nous-vivons-malheureusement-un-retour-du-religieux-pas-du-spirituel_1654188.html (consulté le 29 janvier 2019).

Delacroix G. «Le pèlerinage de la Kumbh Mela, ou quand politique et religion font bon ménage. URL: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/09/le-pelerinage-de-la-kumbh-mela-ou-quand-politique-et-religion-font-bon-menage_5406480_3210.html (consulté le 29 janvier 2019).

De Royer S. «Islamisme: Manuel Valls irrite la gauche en parlant d'une «guerre de civilisation». URL: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/28/01016-20150628ARTFIG00171-islamisme-manuel-valls-reconnait-une-guerre-de-civilisation.php> (consulté le 9 janvier 2019).

Vocabulaire de légitimation et de délégitimation des pratiques religieuses face aux appels à la société laïque dans le contexte médiatique

La recherche a pour objet des spécificités combinatoires et sémantiques propres aux contextes centrés autour de deux lexèmes-clé du discours médiatique — *religion* et *religieux* — qui concerne la thématique «religion vs laïcité». Dans le corpus d'articles des journaux français de niveau national recueilli dans la période 2008–2018 on relève deux types de contextes: ceux où le concept de la religion est représenté positivement et ceux où il ne comporte que la connotation négative.

L'hypothèse préalable consiste en ce que le contexte négatif sert à nourrir les stratégies discursives visant à délégitimer la religion en tant que pratique sociale de valeur et, inversement, en ce que le contexte positif renforce les stratégies légitimant la religion. Donc, l'objectif de la recherche est de dégager les traits saillants de la combinatoire syntaxique et de la sémantique du vocabulaire utilisées dans le cadre des stratégies de (dé)légitimation de la religion dans les médias français.

Il est à noter que depuis 2015, marqué par une série d'attentats terroristes sur le territoire de l'hexagone, les médias français se sont

trouvés largement impliqués dans une discussion ardente visant à problématiser la notion de la religion dans une société confrontée aux menaces des groupes islamistes. Le principe de base de l’État français, celui de la laïcité, est remis en question sous la pression des idées islamophobes. Dans cette atmosphère contraignante, les élites politiques au pouvoirs font des efforts pour rendre attractive l’idée d’une société ouverte au dialogue en encourageant les citoyens, tout en restant dans le cadre du principe de la neutralité, à prendre contact et à nouer le dialogue avec les diverses communautés religieuses présentes en France. Or, le discours médiatique est devenu l’arène où deux tendances opposées se confrontent: la délégitimation de tout ce qui est relatif à la religion et la légitimation de la religion par sa revalorisation.

L’analyse quantitative montre que la dépréciation du concept de la religion prédomine dans le corpus: les journalistes privilégient alors la stratégie d’appel à l’autorité, basée sur des constructions nom+*religieux* destinées à renvoyer le maximum des réalités négatives troublant la société à la sphère religieuse (*choc religieux, problèmes religieux, revendications religieuses*). Ainsi, au niveau associatif on renforce le lien entre la crise régnant dans tous les secteurs de la vie publique et dans la religion. A noter que le vocabulaire de délégitimation relevé autour de la religion forme trois réseaux lexicaux impliquant l’idée de contrainte: restriction, autorité et croyance.

Par contre, la valorisation de la religion s’effectue à l’ aide de la stratégie d’appréciation normative qui, à son tour, s’appuie sur l’emploi des syntagmes prédicatifs représentant la religion dans une optique dynamique, c’est-à-dire, sous forme du sujet ou de l’objet de l’action (*religion joue un rôle, appelle, initie ou protéger la religion etc.*). Le vocabulaire de légitimation forme quatre réseaux lexicaux dont trois font référence à des valeurs de la société démocratique telles que la liberté de l’expression, l’action solidaire, l’interaction en respect des normes sociales. On peut conclure qu’en France, pour être légitimé, le concept de la religion nécessite son imbrication avec celui de la démocratie.

Глава III

ДИСКУРС ЛЕГИТИМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: США и ЯПОНИЯ

3.1. Легитимирующие стратегии в японском педагогическом дискурсе (на материале «Курса морального воспитания»)

Легитимация как объект междисциплинарного исследования

В современной науке феномен легитимации рассматривается в рамках сразу нескольких исследовательских областей, каждая из которых придает его трактовке собственный — специализированный — смысловой оттенок.

Часть ученых относят легитимацию к исключительно юридическим феноменам и помещают в поле правового дискурса, определяя данное понятие как «узаконение» и «легализацию» [Доган, 1994; Видич, 1979]. В то же время для сравнительно большой группы как отечественных, так и зарубежных исследователей приоритетным является изучение политического контекста легитимации [ван Дейк 2013, Бурдье, 1991; Фэркло, 2013]. В таком контексте легитимация представляет собой процесс признания или подтверждения права политической власти на принятие и реализацию политических решений и действий [Скиперских, 2007: 12].

Однако основой для многих исследований является социологическая теория. М. Вебер определял легитимацию как узаконение политического режима, т. е. придание ему легитимности, и включал в понятие легитимности два основных положения: признание власти правящих и обязанность управляемых ей подчиняться [Вебер, 1990: 541]. Это значит, что если власть легитимна,

то и ее деятельность или деятельность ее отдельных институтов одобряется и поддерживается большинством населения.

Социологическое прочтение легитимации власти стало приоритетным для теоретических моделей таких ученых, как П. Бергер, Т. Лукман и др., которые трактовали легитимацию как «способ и оправдание институционального мира» [Бергер, Лукман, 1995: 30]. По мнению исследователей, *институционализация* имеет место везде, где «осуществляется взаимная типизация привычных действий деятелями разного рода», где любая подобного рода типизация становится институтом [Там же: 27]. А само понятие *институционализации* исследователи характеризуют как «динамический процесс возникновения, установления и передачи социального порядка» [Там же: 30], который возникает именно в процессе институционализации и без нее не существует.

Т. Лукман и П. Бергер вычленяют в процессе институционализации три последовательных этапа: типизацию, объективацию и легитимацию.

Первый этап институционализации начинается с *типовизации* и сопровождается возникновением первичного социального контроля, обусловленного существованием института. Истоки любого институционального порядка находятся в типизации совершаемых действий: одного индивида объединяют с другими определенные цели и совпадающие этапы их достижения; более того, не только определенные действия, но и формы их осуществления типизируются [Там же: 35]. Тем самым акторы, совершающие те или иные действия, воспринимаются уже не как уникальные индивиды, а как своего рода «типы», и по определению, эти типы взаимозаменяемы. Для типизации действий необходимо, чтобы они имели объективный смысл, для чего, в свою очередь, необходима лингвистическая объективация. Иными словами, нужен некоторый вocabуляр, имеющий отношение к этим формам действия [Там же: 36].

Второй этап институционализации — *объективация* — это процесс, посредством которого овнешненные продукты человеческой деятельности приобретают характер объективности [Там же: 30]. Объективация предполагает превращение институтов в объективную социальную реальность, которую Т. Лукман и П. Бергер и называют «социальным миром».

В то же время этому «социальному миру» требуются способы его «объяснения» и оправдания. Эту задачу как раз выполняет

легитимация, которая представляет собой третий этап институционализации. Потребность в легитимации возникает тогда, когда объективации институционального порядка нужно передавать новому поколению. На этом этапе самоочевидный характер институтов больше не может поддерживаться благодаря индивидуальной памяти. А для поддержания социального порядка необходимы «объяснения» и оправдания тех или иных элементов институциональной традиции. Легитимация и есть этот самый процесс «объяснения» и оправдания [Там же: 45].

Позднее термин «легитимация» входит в практику лингвистических и — шире — социогуманитарных исследований, выполняемых в парадигме критического дискурс-анализа, для которого ключевым сюжетом является поиск ответа на вопрос «Как власть воспроизводит самую себя?» [Колмогорова, 2018: 34]. А потому современные дискурс-аналитики характеризуют легитимацию как попытку сформировать позитивное отношение к своим социальным и дискурсивным практикам не только в правовой сфере, но и в сознании общественности [ван Дейк, 2013: 50].

Установление социального контроля посредством контроля дискурса (на примере педагогического дискурса)

Поскольку объектом проводимого исследования является педагогический дискурс, то в первую очередь необходимо уточнить его статус в типологии дискурсов. В социолингвистике выделяют два типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный). Последний, по мнению В. И. Карасика, представляет собой «общение в определенных рамках статусно-ролевых отношений», где каждый актор «выступает как представитель определенного социального института» [Карасик, 2002: 194]. В качестве одного из основных типов институционального дискурса исследователь упоминает педагогический дискурс, целью которого определяет «социализацию нового члена общества» [Там же: 195].

Каждый социальный институт для успешного осуществления своей деятельности пытается сформировать позитивное отношение к своим социальным и дискурсивным практикам, т. е. стремится легитимировать их не только в правовой сфере, но и в сознании общественности. Поэтому именно на этапе легитимации решается проблема **социального контроля**.

Т.А. ван Дейк выделяет четыре основных способа реализации власти и установления контроля:

1. Прямое управление с помощью дискурса, выполняющего директивные прагматические функции: с помощью приказов, угроз, законов, регуляций, инструкций и с помощью менее прямых форм, таких как рекомендация и совет.

2. Реклама и пропаганда.

3. Управление с помощью описания будущих или возможных событий, действий и ситуаций: в форме прогнозов, планов, сценариев, программ и предупреждений, которые часто комбинируются с различными видами совета.

4. Различные виды распространенных, влиятельных нарративных текстов, таких как романы или кинофильмы, в которых может быть описан (не)желательный характер будущих действий, а также использована риторика драматического или эмоционального описания [ван Дейк, 2013: 58].

Кроме того, как отмечает Т.А. ван Дейк, первостепенным для властных групп является именно первый способ — установление контроля над самим дискурсом, потому что дискурс управляет сознанием, а сознание управляет действиями индивидов. Таким образом, власть посредством дискурса передает определенные убеждения, знания и мнения, опираясь на авторитетные источники, какими чаще всего предстают ученые, эксперты, профессионалы, надежные СМИ и др.

Особая роль в процессе установления и легитимации власти отведена именно сфере образования, где участники поневоле становятся реципиентами дискурса: учебные занятия, учебные материалы, инструкции должны быть восприняты, интерпретированы и изучены в аспекте интенций институциональных или организационных авторов [Giroux, 1981; цит. по: ван Дейк, 2013: 118]. Нередко педагогический (образовательно-педагогический) дискурс трактуется как своего рода «эталон» для построения образовательных дискурсных практик, поскольку рассматривается как система речевых и мыслительных стратегий, направленных на передачу знания и опыта от поколения к поколению или от сообщества к сообществу [Кожемякин, 2010].

В педагогическом дискурсе находят свое выражение не только традиционные ценности, но и новейшие общественно-политические тенденции: глобализация, интернационализация, маркетизация, неолиберализм и коммерциализация — как самого

образования, так и образовательной среды [Kubota, McKay, 2009; Kubota, 2010]. А потому многие дискурс-аналитики подвергают пристальному изучению внутриклассную деятельность, обращая внимание на «конверсационные (диалоговые) стратегии и распределение ролей в интеракции, используемые учителями на уроке» [Matre Solheim, 2016: 191].

Также стоит отметить, что важную роль в контроле над дискурсом выполняет письменный дискурс, поскольку, как указывает Т.А. ван Дейк, в большинстве случаев он лучше контролируется [ван Дейк, 2013: 76]. В педагогическом дискурсе это проявляется особенно сильно — ведь занятия в школах невозможны без учеников, образовательных программ и других письменных материалов. В этой связи при изучении педагогического дискурса предметом анализа становятся дидактические материалы, на основе которых школьный учитель выстраивает свою педагогическую деятельность, служа, таким образом, своеобразным проводником идеологических установок, которые могут быть «политически и культурно ангажированы определенными доминирующими или господствующими идеологиями» [Toh, 2013].

Один из основных прецедентных текстов педагогического дискурса в Японии — программа «Курс морального воспитания» (до: току кё: ику)¹, специально разработанная министерством образования Японии и адресованная учителям младших и средних школ. В программе содержатся четкие рекомендации по осуществлению воспитательной работы, а также средства и материалы, необходимые для обучения.

В Основном законе об образовании Японии сказано: «Основным принципом нравственного воспитания в школе является обязанность осуществлять его во всей деятельности школы». Так, с первого класса начальной школы проводится целенаправленная работа по подготовке настоящих членов японского общества, которое до сих пор сохраняет некоторые черты конфуцианской культуры [Молодякова, 2010: 159]. Моральное воспитание в японской школе представляет собой комплекс программ, в котором четко определены цели и задачи курса, а также средства и материалы, по которым осуществляется обучение всех учеников младших и средних классов.

¹ 道徳教育// Official website of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(MEXT). [Электронный ресурс]. URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/index.htm (дата обращения: 10.12.2018)

Школьный учитель в данном случае выполняет две основные задачи: изучение и интерпретацию учебных материалов в аспекте интенций институциональных или организационных авторов и является медиатором между двумя основными акторами: школьниками и коллективным автором образовательных программ — Министерством образования [Колмогорова, Козачина 2018: 5].

Процесс передачи ценностных установок между двумя основными акторами можно отразить в следующей схеме (рис. 6),

Важно отметить, что внутри властных институтов существует иерархия позиций, рангов и статусов, а это подразумевает использование различных речевых актов, жанров и стилей, например, указывающих на полномочия и приказ [ван Дейк, 2013: 86]. Таким образом, на примере японского педагогического дискурса можно проследить то, каким образом в процесс легитимации вовлечены акторы всех уровней: от министерства образования, разрабатывающего учебный план, авторов, коллективов и издателей, которые выпускают учебники, и учительских комитетов, утверждающих их, до учителей, которые преподают по этим учебникам.

Многие дискурс-аналитики сходятся во мнении, что с помощью подобного рода дидактических материалов «имплицитно реализуются правительственные инициативы, направленные на подготовку подрастающего поколения к участию в социополитической и экономической жизни страны» [Simmon, Smyth, 2016: 138]. А потому в качестве основного инструмента регулирования сферы образования они рассматривают критический дискурс-анализ (КДА), целью которого, по мнению Н. Фэрклло, является анализ неявных, непрозрачных структурных отношений доминирования, дискриминации, власти и контроля, выраженных в языке [Fairclough, 2013].

Также КДА способен выявить, как образование стремится расширить возможности студентов изучать окружающий мир

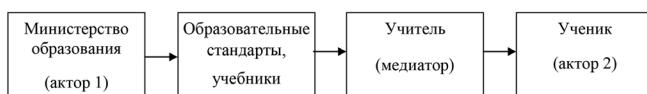


Рис. 6. Институциональное взаимодействие
в рамках педагогического дискурса

и судить о нем и при необходимости внести необходимые изменения в их мировоззрение [Sadeghi, 2013: 1064]. Для этого властные структуры используют различные стратегии, позволяющие им управлять производством устных и письменных жанров дискурса, а значит, и частью когнитивных процессов, лежащих в основе формирования картины миры отдельного народа.

Анализируя закономерности использования различных вербальных и невербальных ресурсов для достижения тех или иных коммуникативных целей, исследователи оперируют понятием дискурсивной стратегии, понимая под ним потенциально возможные интерактивные способы осуществления коммуникативно значимых действий в дискурсе и языковые способы их выражения. Выбор определенных средств для достижения определенной цели в определенных условиях общения рассматривается как реализация определенной стратегии в дискурсе [Цурикова, 2007: 101].

В практике КДА основное внимание уделяется текстовой практике и стратегиям, посредством которых осуществляется легитимация. С этой точки зрения легитимация может рассматриваться как дискурсивный процесс, создающий у участников дискурсивной деятельности чувства легитимности или нелегитимности в текстах и социальных контекстах [Joutsenvirta, Vaara, 2015: 744].

Предполагается, что изначально все коммуниканты обладают равными социальными ролями, но дискурс легитимации воспроизводит неравенство. В своих исследованиях П. Бурдье указывает, что все символические стратегии, посредством которых те или иные акторы дискурса намереваются укоренить свой взгляд на деление социального мира и свое положение в нем, можно расположить между двумя крайними точками [Bourdieu, 1991; Бурдье, 2007]. Первая — *idios logos* («личностное суждение»), когда простое частное лицо стремится внушить свою точку зрения, рискуя получить аналогичный ответ; вторая — официальная номинация — акт символического внушения, который имеет для этого всю силу коллективного, силу консенсуса, здравого смысла, поскольку совершается через доверенное лицо государства, обладателя монополии на легитимное символическое насилие [Бурдье, 2007: 28].

С помощью дискурсивных стратегий легитимации Т. ван Левена [van Leeuwen, 2008] нам представляется возможным проанализировать свет на особенности построения японского педагогического

дискурса и его отношение к дискурсу легитимации, а также ответить на вопрос, как цели и задачи «Курса морального воспитания» соотносятся с задачами властных структур и проводимой ими политикой.

Японский педагогический дискурс сквозь призму стратегий легитимации

«Курс морального воспитания», как для младшей, так и для средней школы, разделен на четыре основных направления:

- 1) **主として自己自身に関すること** («о себе»):
 - 自律 («самостоятельность»),
 - 自由と責任 («независимость и ответственность»),
 - 節度と節制 («умеренность и сдержанность»),
 - 希望と勇気 («надежда и храбрость») и т. д.;
- 2) **主として人との関わりに関すること** («об отношениях с окружающими людьми»):
 - 思いやりと感謝 (« сострадание и благодарность»),
 - 礼儀 («соблюдение правил приличия»),
 - 信頼 («доверие»),
 - 相互理解 («взаимопонимание»);
- 3) **主として集団や社会との関わりに関すること** («об отношениях с коллективом и с обществом»):
 - 公徳心 («чувство общественного долга»),
 - 公正と公平 («справедливость и беспристрастность»),
 - 勤労 («любовь к труду»),
 - 家族愛 («любовь к семье»),
 - 伝統と文化の尊重 («верность традициям»)
 - 郷土を愛する態度 («любовь к родине»);
- 4) **主として生命や自然, 崇高なものとの関わりに関すること** («об отношении к природе и к святому»):
 - 生命の尊さ («понимание того, как ценна жизнь»),
 - 自然愛 («бережное отношение к природе»),
 - 感動, 畏敬の念 («волнение и почтительный страх»),
 - よりよく生きる喜び («радость от возможности изменить свою жизнь к лучшему»).

Ценности и предписания в курсе также четко структурированы и распределены по данным направлениям (рис. 7), опираясь на которые, учителя должны проводить воспитательную работу. Также стоит заметить, что подобная структура документа имеет четкую связь с важнейшими для японской культуры

категориями *内 /uchi/* («свой») и *外 /soto/* («чужой»), которые, по мнению Л. Танака, формируют японское общество [Tanaka, 2004: 24]. Эта закономерность отражена на рисунке (рис. 7).

Каждый японец в течение всей жизни входит во множество групп, начиная от семьи и заканчивая государством, а потому понятия «своего» и «чужого» не абсолютны, а относительны. Как «свои» могут рассматриваться члены своей семьи в противоположность остальным людям, соседи в противоположность далеко живущим, уроженцы одной местности в противоположность уроженцам иных мест, сотрудники своей фирмы в противоположность персоналу иных фирм, люди одного пола в противоположность иному полу и т. д. [Алпатов, 2008: 79].

Итак, анализ курса на предмет выявления стратегий легитимации позволил сделать следующие выводы.

Стратегия апелляция к авторитету. В современной Японии наблюдается повышенный интерес правящих кругов к политико-идеологическому использованию образа императора как символа национального единства [Сила-Новицкая, 1990: 3]. Принцип «тэнносюги» (от 天皇 /tenno:/ «император») или *тэнноизма* — культа императора, — лежащий в основе государственной идеологии до-военного времени (1868–1945 гг.) сохраняется и по сей день, пусть и в трансформированном виде.

На протяжении всей японской истории, вплоть до окончания Второй мировой войны, японский император как наследник



Рис. 7. Ценности японского общества в дискурсе
«Курса морального воспитания»

богов, являясь духовной основой японской государственности, воплощал собой идею о «божественном» происхождении страны [Paramore, 2016: 695]. Послевоенные демократические реформы образования отменили «моральное воспитание» в духе тэнноизма в школах, а принятие новой демократической конституции в 1947 г. способствовало передаче суверенитета в стране народу. Власти императора был придан номинальный характер, и она была ограничена следующим статусом: «символ государства и единства нации» [Сила-Новицкая, 1990: 4].

Однако уже в 1960-х гг. в «Курсе морального воспитания» акцент постепенно был перенесен на привитие почтительного отношения к императору. Содержание курса «Морального воспитания» стало определяться положениями Программы *人づくり* / hito dzukuri/ («Программы формирования желательного образа человека»), утвержденными Центральным советом по образованию. В программе прямо говорилось о почитании императора [Там же: 38].

В современном «Курсе морального воспитания» отсутствует статья об императоре, но присутствуют следующие предписания: 47) 我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する。

Уважать традиции и культуру нашей страны, любить нашу страну.

48)郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する。

Уважать традиции и культуру родины, любить родину.

Нужно отметить, что подобная попытка законодательного установления «любви к стране и к родине» вызвала острые споры. Отправной точкой начала дискуссии стал апрель 2006 г., когда Либерально-демократическая партия и партия Новая Комэйто договорились о внесении в проект пункта о патриотизме. Правительство приняло проект закона и отправило его на утверждение в парламент. «Патриотический пункт» тут же начал обсуждаться на страницах газет, журналов, на телевидении и в Интернете. Из-за острых дебатов обсуждение было пролонгировано на осень [Говоров, 2007: 31].

Осенью 2006 г. проект вновь оказался в парламенте. Представители оппозиционных партий всячески пытались затянуть обсуждение, но правительственный коалиции хватило голосов, чтобы проголосовать за проект и отправить его на обсуждение в палату представителей [Там же: 32].

В итоге в готовом тексте обновленного закона статья о патриотизме была несколько видоизменена: у нее появилась вторая часть:

49)伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

Наряду с любовью к своей стране и родине с уважением относиться к другим странам, воспитывать стремление к миру и добрососедским отношениям с мировым сообществом.

Важно подчеркнуть, что, как правило, вторую часть не замечают, акцентируя внимание на законодательном установлении «любви к своей стране и родине».

Кроме того, стоит отметить, что одной из наиболее частотных субстратегий в рамках стратегии апелляции к авторитету является *апелляция к безличному авторитету*: законам и правилам, на которых выстраивается жизнь ребенка в школе и его поведение в обществе. Следование этим правилам декларируется в курсе в следующих предписаниях:

50)生活習慣の大切さを理解し…節度を守り節制に心掛けること。

Понимать и ценить жизненные устои <...> во всем придерживаться правил и соблюдать умеренность (5-6 класс).

51)望ましい生活習慣を身に付け、節度を守り節制に心掛け、安全で調和のある生活をすること。

Принимать требуемые жизненные устои, <...> во всем придерживаться правил, соблюдать умеренность и жить в гармонии (средняя школа).

52)誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく、公正、公平な態度で接し、正義の実現に努めること。

Не проводить различия между людьми, избавиться от предубеждений; быть верным законам, вести себя честно, стараться жить по справедливости.

В данных предписаниях можно проследить связь с неоконфуцианской традицией, которая еще в XVII в. стала официальной государственной идеологией и закрепила нормы поведения «благородного человека» в обществе, назвав одной из важнейших добродетелей преданность власти имущим, а также ритуалам и традициям.

Большая роль традиций в формировании японского менталитета находит отражение в следующих предписаниях, где происходит апелляция к авторитету традиций.

53)郷土の伝統と文化を大切にし、社会に尽くした先人や高齢者に尊敬の念を深めること。

Ценить культуру и традиции своей родины, воспитывать в себе уважение к пожилым людям и нашим предкам, что отдавали все силы на развитие нашего общества.

54) 優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するとともに、日本人としての自覚をもって国を愛し、国家及び社会の形成者として、その発展に努めること。

Способствовать развитию новой культуры и сохранению нашего великого наследия; осознавать, что значит быть японцем, любить свою страну; будучи гражданином, активно влиять на политическую жизнь общества.

Национальные традиции являются не только прочным фундаментом для формирования социальных ценностей японцев, ими также пронизаны многие аспекты повседневной жизни, такие как, например, процесс принятия решений. В японском языке существует термин *ねまわし/nemawashi/*, который в буквальном смысле означает «обрубление корней». В сущности, это «сглаживание углов», т. е. элиминирование разногласий, ослабление противоречий, отсечение противоположных точек зрения и т. д. [Пронников, Ладанов, 1996: 295].

А. Вежбицкая в своих исследованиях описывает принцип *нэмаваси* следующим образом: «...в противоположность европейскому методу принятия решений большинством голосов японцы предпочитают предварительные увязки, совещания и неформальные переговоры. Подобная процедура, по их мнению, приводит к единодушию, что выливается в согласованные действия. По этой причине решение большинства обычно кажется недостаточным основанием для совместного действия, и голосования избегают. Скорее предпочитают, чтобы в результате долгих неформальных дискуссий возникло новое мнение, с которым согласился бы каждый член группы» [Вежбицкая, 1999: 675].

Авторитет конформизма прослеживается в следующих предписаниях:

55) 社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め、公共の精神をもってよりよい社会の実現に努めること。

Повышать уровень сознательности и общественной солидарности, активно участвовать в общественных процессах; стараться во благо общества.

56) 分の考え方や意見を相手に伝えるとともに、それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなものとの見方や考え方があることを理解すること。

Учиться доносить свои мысли и свое мнение до собеседника; уважать чужое мнение; понимать, что в мире существуют разные точки зрения.

Истоки японского конформизма заложены в том, что японцы называют *集團意識 /shū: dan ishiki/* («групповое сознание»). С самого детства японцев учат ориентироваться не на свои собственные интересы, а на интересы групп, коллективов, в которых они учатся или работают. Самопожертвование в японском обществе считается нормой и даже добродетелью.

Так, одной из основных задач, которые министерство образования ставит перед учителем, является приучение детей к восприятию проблем группы как проблем своей личной жизни. И именно через призму «взаимопонимания» происходит интерпретация таких ценностей, как: *自主* («самостоятельность»), *自律* («независимость»), *自由* («свобода») и др. [Козачина, 2018: 28].

Например:

57)相手のことを理解し,自分と異なる意見も大切にすること。

Понимать собеседника, ценить мнение, даже отличное от собственного.

Понимание свободы в японском сознании значительно отличится с пониманием ее в западной культуре, где это личностное качество целиком устремлено главным образом вовнутрь себя. Для японца свобода и самостоятельность становятся «умением понимать и добровольно вписываться в существующий общественный строй» [Салимова, 2001: 543; цит. по: Козачина, 2018: 27].

Подобное восприятие свободы отражает один из основных принципов дзэн, пронизывающий всю японскую культуру: «свободный не посягает на свободу другого». Как пишет Судзуки, «эгоцентрик не может быть свободен, находясь в рабстве у самого себя», и называет это врагом человека, порождающим противостояние и вечное соперничество [Григорьева, 2008: 95].

Стратегия моральной оценки. Реализация данной стратегии происходит на семантическом уровне, где наблюдается частотное употребление следующих оценочных компонентов: *大切である/taisetsu de aru/* («важно»), *必要がある/hitsuyo: ga aru/* («обязательно»), с помощью которых формулируется наибольшее число предписаний в курсе.

大切である/ taisetsu de aru/ («важно»)

58)相手の立場や気持ちに対する配慮,そして,感謝の対象の広がりについても理解を深めていくことが大切である。

Важно принимать точку зрения и чувства собеседника, развивать у себя чувство благодарности.

59)最も豊かな人間関係であること、互いの個性を認め、相手への尊敬と幸せを願う思いが大切である。

Важно развивать прочные человеческие отношения, понимать и принимать каждого, уважать собеседника и желать ему счастья.

必要がある / hitsuyo: ga aru / («необходимо»)

60)公のことと自分のこととの関わりや社会の中における自分の立場に目を向け、社会をよりよくしていこうとする気持ちを大切にする必要がある。

Необходимо ценить желание сделать жизнь в обществе лучшее, развивать в детях ощущение себя частью общества.

61)進んで社会と関わり積極的な生き方を模索しようとする態度を育てる必要がある。

Необходимо мотивировать детей развиваться и активно искать свое место в обществе.

Обращаясь к данной стратегии, японцы не оперируют понятиями «хорошо — плохо», предпочтая опираться на категории «важно», «требуется», которые являются неотъемлемой составляющей культурной модели поведения японцев — культуры «стыда». В противовес западной культуре «вины» в культуре «стыда» центральное значение придается не моральным терзаниям, взращенным христианской традицией, а переживанию стыда и позора, которые являются результатом существующих в обществе строгих предписаний и норм поведения.

Опираясь на описание аргументативного способа организации дискурса во французской лингвистической традиции [Charaudeau, 1992], возможно проследить также связь данных семантических средств с ценно-семантической областью pragmatischenkoj, которая определяется в терминах полезного/бесполезного, и областью этического, где преобладают значения солидарности, дисциплины и ответственности. Как правило, авторы образовательной программы используют аргумент, базирующийся на социальном консенсусе — члены социокультурного сообщества разделяют определенные ценности в определенных областях оценки и заявленные положения соответствуют нормам социального представления [Костюшкина, 2005: 263; цит. по: Колмогорова, Козачина, 2018: 7]. Подобное мы можем наблюдать и в исследуемом курсе.

Стратегия рационализации. В случае данной стратегии ключевой формулой, выполняющей когнитивно-структурирующую функцию для формирующегося сознания школьника, является положительная репрезентация Японии и японской нации: мы — часть современного глобального мира — что отражается в следующих предписаниях:

62) 今後グローバル化が進展する中で、様々な文化や価値観を背景とする人々と相互に尊重し合いながら生きることや…実現を図ることが一層重要な課題となる。

Важной задачей для нас является создание реальности, в которой мы живем в согласии и взаимном уважении с представителями других культур и ценностей в развивающемся глобальном мире.

63) グローバル化や情報通信技術などが進展すればするほど、日本人としての自覚をもつことが大切になってくる。

В связи с развитием глобализации и информационных технологий особую важность приобретает самосознание каждого гражданина Японии.

Таким образом, японское государство помещается в будущий позитивный социальный контекст, каким составители курса видят глобализацию, представляющую собой «закрепление тех тенденций в мировом социальном опыте, которые прошли длительную апробацию и в результате эволюционного развития показали свою эффективность» [Бронзино, 2009: 111]. Предполагается, что в результате изучения курса у школьников должен сформироваться определенный образ своей страны: прогрессивной державы, не уступающей в своем развитии западному миру, — в противоположность технически отсталой послевоенной Японии.

Использование же таких позитивно коннотированных лексических единиц, как 進展 /shinten/ («прогресс, развитие»), 相互尊重 /so: go soncho:/ («взаимоуважение»), 幸福 /ko: fuku/ («счастье»), 調和 /cho: wa/ («гармония») и др., служит не только для обозначения основных направлений развития японского общества, в которые должен быть включен ребенок, но средством развенчания образа Японии после Второй мировой войны и дальнейшего установления нового курса.

Мифopoэтическая стратегия. Воплощением данной дискурсивной стратегии в большинстве своем являются поучительные истории, которые включены в учебное пособие «Курса



Рис. 8. Страница из учебника «Наша мораль»

морального воспитания» — *私たちの道徳*¹ /*watashi no do: toku/* («Наша мораль»). Данное пособие структурировано точно так же, как и программа курса, но вместо предписаний содержит в себе поучительные истории и вопросы к ним, а также специальные места для рассуждений.

Примером может послужить помещенная на страницы учебника и переведенная на японский язык «Сказка о рыбаке и рыбке», которая в переложении получила название: «Золотая рыбка». Примечательно, что сказка находится в разделе *よく考えて節度ある生活を* («Давайте жить продуманно и умеренно»), что полностью соответствует одному из предписаний «Курса морального воспитания»:

64)自分でできることは自分でやり、安全に気を付け、よく考えて行動し、節度のある生活をすること。

Делать все то, что в твоих силах, беречься, всегда обдумывать свои поступки, и все всем соблюдать умеренность.

Пример страницы из учебника можно увидеть на рис. 8.

¹ *私たちの道徳*// Official website of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(MEXT) [Электронный ресурс]. URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/index.htm (дата обращения: 25.10.2018).

В рамках рассматриваемой мифопоэтической стратегии сказка «Золотая рыбка» может быть отнесена к одной из субстратегий — апокрифическому рассказу. На протяжении всего повествования старуха действует вопреки социальной модели легитимации: «во всем соблюдать умеренность», что приводит к известным печальным последствиям:

65) おじいさんがおばあさんのところへ帰ると、元のような粗末な小屋の前で、おばあさんがぼんやり座っていました。

Вернулся старик к старухе — глядь: перед ним прежняя бедная лачуга, а перед ней вся в задумчивости сидит старуха.

После прочтения сказки детям предложено подумать над следующим вопросом и обсудить его с одноклассниками:

66) 金色の魚は、なぜ黙って、海の底へ隠れてしまったのでしょうか。

Почему же золотая рыбка ничего не сказала и ушла в глубокое море?

В данном случае наблюдается следующая дихотомия: с одной стороны, детям предложено самостоятельно порассуждать о проблематике прочитанной сказки, с другой — они уже ограничены той ценностной категорией, к которой обращена сказка, а именно категорией «умеренность». И задача учителя так или иначе сводится к тому, чтобы направлять мысль учеников, дать им самостоятельно прийти к нужному заключению.

Таким образом, изучая «Курс морального воспитания», мы наблюдаем обращение к следующим ценностным установкам, структурирующим картину мира японцев:

- 1) подчинение законам и правилам;
- 2) сохранение традиций;
- 3) уважение к старшим и предыдущим поколением, формирование связи поколений;
- 4) следование принципам конформизма (*нэмаваси*) и группового сознания;
- 5) преданность общественным интересам взамен личных;
- 6) соблюдение принципа умеренности;
- 7) восприятие своей страны как прогрессивной державы, мирно сосуществующий с остальными мировыми государствами.

Также важно отметить, что в рамках курса наблюдается реализация данных установок с помощью всех предложенных Т. ван Левеном легитимирующих стратегий: стратегии апелляции к авторитету, моральной оценки и рационализации — в тексте

программы курса, а мифопоэтическая стратегия представлена на страницах учебника «Наша мораль».

Проведенный анализ «Курса морального воспитания» через призму дискурсивных стратегий легитимации позволил выделить основные направления японской политики в сфере образования, а также ценностные установки, имплицитно насаждаемые подрастающему поколению японскими властными институтами. Процесс европеизации, начавшийся в Японии во второй половине XIX в., тотальная национализация, захватившая умы японцев еще до начала Второй мировой войны, и демократизация всех областей жизни после ее окончания — все это накладывает особый отпечаток на формирование современной политической картины мира и отражается в дискурсе и способах установления контроля над ним.

Легитимация также находит специфическое преломление в японском педагогическом дискурсе: накладываясь на основы тэнноизма и перенятые у китайской цивилизации принципы конфуцианства, она аппелирует, как правило, не к авторитету конкретной личности или эксперта, а к верховенству законов и правил и принципам группового сознания, на которых базируется японское общество.

Список литературы

Алпатов В. М. Япония: язык и культура. М.: Языки славянских культур, 2008. 208 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: «Медиум», 1995. 323 с.

Бронзино Л. Ю. Парадоксы легитимности в глобализирующемся сообществе // Вестник РУДН. Сер. Социология. 2009. № 3. С. 107–112.

Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации: пер. с англ. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 342 с.

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.

Вежбицкая А. Язык, культура, познание: пер. с англ. М.: Русские словари, 1996. 416 с.

Говоров А. В. Проект базового закона об образовании в контексте проблемы пересмотра конституции Японии // Япония: ежегодник. 2007. С. 27–48.

Григорьева Т. П. Япония. Путь сердца. М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2008. 392 с.

Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. 1994. № 6. С. 17–29.

Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод: пер. с англ. 2-е изд., испр. Харьков: Гуманитарный центр, 2008. 352 с.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

Козачина А. В. Национальная модель интерпретации концепта ЖИЗНЬ в японском педагогическом дискурсе (на материале «Курса морального воспитания») // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. № 2. С. 24–32.

Кожемякин Е. А. Образовательно-педагогический дискурс // Современный дискурс-анализ: типы дискурсов: теоретические описания. 2010. № 2. С. 27–46.

Колмогорова А. В. Легитимация как социополитический феномен и объект дискурс-анализа // Политическая лингвистика. 2018. № 1(67). С. 33–40.

Колмогорова А. В., Козачина А. В. Лингвоэкологический аспект формирования языкового сознания японских школьников (на материале «курса морального воспитания “до: току кё: ику”») // Экология языка и коммуник. практика. Красноярск: СФУ, 2018. № 1. С. 1–13.

Костюшкина Г. М. Современные направления во французской лингвистике: 2-е изд., испр. и доп. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. 332 с.

Молодякова Э. В. Школьное образование в Японии // Ежегодник Япония. 2010. № 39. С. 155–171.

Пронников В. А., Ладанов И. Д. Японцы (этнопсихологические очерки). М.: Наука, 1996. 400 с.

Салимова К. И. Педагогика народов мира. М.: Пед. общ-во России, 2001. 536 с.

Сила-Новицкая Т. Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика. М.: Наука, 1990. 206 с.

Скиперских А. В. Механизмы легитимации политической власти на постсоветском пространстве. автореф. дис. ... д-ра полит. наук. 23.00.02. Воронеж, 2007. 47 с.

Цурикова Л. В. Дискурсивные стратегии как объект когнитивно-прагматического анализа коммуникативной деятельности // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 4 (013). С. 98–108.

- Boiger M., Uchida Y., Norasakkunkit V., & Mesquita B. Protecting Autonomy, Protecting Relatedness: Appraisal Patterns of Daily Anger and Shame in the United States and Japan. *Japanese Psychological Research*, 2016, Vol. 58(1), pp. 28–41.
- Bourdieu P., Chamboredon J. *Craft of Sociology*. New York, 1991. 271 p.
- Charaudeau P. *Grammaire du sens et de l'expression*. Paris: Hachette Education, 1992. 972 p.
- Fairclough N., *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge, 2013. 608 p.
- Joutsenvirta M., Vaara E. Legitimacy Struggles and Political Corporate Social Responsibility in International Settings: A Comparative Discursive Analysis of a Contested Investment in Latin America. *Organization Studies*, 2015, Vol. 36(6), pp. 741–777.
- Kubota R., McKay S. Globalization and language learning in rural Japan: The role of English in the local linguistic ecology. *TESOL Quarterly*. Vol. 43(4). 2009. Pp. 593–619.
- Matre S., Solheim R. Opening dialogic spaces: Teachers' metatalk on writing assessment. *International Journal of Educational Research*, 2016, Vol. 80, pp. 188–203.
- Paramore K. Confucian Ritual and Sacred Kingship: Why the Emperors Did not Rule Japan. *Comparative Study of Society and History*, 2016, Vol. 58, pp. 694–716.
- Sadeghi B. A Critical Discourse Analysis of Discursive (De-) Legitimation Construction of Egyptian Revolution in Persian Media. *Journal of Language Teaching and Research*, 2013, Vol. 4, No. 5, pp. 1063–1071.
- Simmons R., Smyth J. Crisis of youth or youth in crisis? Education, employment and legitimization crisis. *Journal International Journal of Lifelong Education*, 2016, Vol. 35, pp. 136–152.
- Tanaka L. *Gender, Language and Culture. A Study of Japanese Television Interview Discourse*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004, 251 p.
- Toh G. *Critical Analysis of Discourse in Educational Settings. The Encyclopedia of Applied Linguistics*. Edited by Carol A. Chapelle. Iowa State University, USA: Blackwell Publishing Ltd., 2013.
- Van Leeuwen T. *Discourse and Practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2008. 184 p.
- Vidich A. Legitimation, Bureaucracy, and Watergate. *Conflict and Control. Challenge to Legitimacy of Modern Governments*, 1979, pp. 133–159.

Les stratégies de légitimation dans le discours pédagogique japonais (sur les bases du «Cours d'éducation morale»)

Cette analyse est consacrée à l'étude des stratégies de légitimation dans le discours pédagogique japonais à partir du cours d'éducation morale, un des sujets clés dans l'éducation scolaire au Japon, visant à préparer la jeune génération à participer à la vie sociopolitique et économique du pays. L'actualité et la nouveauté de l'étude sont liées à la rareté de l'analyse du discours pédagogique japonais et des textes antérieurs et que, en général, celle-ci est faite dans le contexte de la culture et de la pédagogie. Notre analyse permet de mettre en évidence les directions fondamentales de la politique japonaise de l'éducation et aussi les valeurs inculquées à la génération montante par les institutions.

Le phénomène de légitimation est étudié par plusieurs branches de la recherche scientifique contemporaine. Chacune d'entre elles lui conférant par son interprétation sa propre nuance sémantique. Les chercheurs, se fondant sur la théorie sociologique de M. Weber, étudient ce phénomène dans le champ des discours juridiques et politiques et également dans la pratique de recherches linguistiques et sociologiques réalisées dans le paradigme de l'analyse critique du discours.

Les analystes du discours soulignent, caractérisant la légitimation comme une tentative de le positiver dans la conscience de la société, tant pour les pratiques sociales que pour les pratiques du discours, que c'est précisément à cette étape de la légitimation que se pose le problème du contrôle social. De même dans les milieux dirigeants, il est primordial de contrôler le discours lui-même, car, comme on le sait, le discours dirige la conscience et la conscience dirige les actes des individus. C'est précisément par l'intermédiaire du discours que se constituent les connaissances, les convictions et les opinions en s'appuyant sur les sources compétentes, auxquelles contribuent le plus souvent savants, experts, professionnels des média etc.

Un rôle particulier dans le processus est celui de l'éducation: le matériel pédagogique, les programmes et les leçons doivent être étudiés et interprétés selon les intentions des auteurs institutionnels. De plus, ce ne sont pas seulement les valeurs traditionnelles qui se trouvent dans le discours pédagogique mais aussi les toutes dernières tendances socio-politiques, telles que la globalisation, l'internationalisation, le marketing, et d'autres encore.

Cependant il faut remarquer qu'il est essentiel que le contrôle du discours s'adresse au discours écrit, d'autant qu'il est dans la majorité

des cas mieux contrôlé. C'est pourquoi le «cours d'éducation morale» choisi en qualité de matériel éducatif, est un des textes principaux du discours pédagogique au Japon. Il contient des recommandations précises à propos de la réalisation du travail éducatif et également des moyens et du matériel indispensables à l'enseignement. L'enseignant, jouant son rôle de médiateur entre le Ministère de l'éducation et les écoliers, transmet les valeurs inscrites dans» le cours».

La base de l'analyse s'est appuyée sur les propositions de l'analyste du discours réputé, le français T van Leven: stratégie de l'appel à l'autorité, stratégie de l'évaluation morale, stratégie de la rationalisation, stratégie mythoéthique. Grâce à elles, il a été possible d'éclairer la construction particulière du discours pédagogique japonais et de son attitude envers la légitimation du discours, mais aussi de répondre à la question sur la corrélation entre les buts et les problèmes du «cours d'éducation morale» et les problèmes des structures du pouvoir et de leur conduite de la politique.

3.2. Стратегии (де)легитимации в конвергентной журналистике и журналистике погружения

Работа сознания человека с текстом, поиск и описание универсальных закономерностей этого процесса составляют объект исследования многих областей научного знания (когнитивистика, семиосоциопсихология, теория массовой коммуникации). Недоступный наблюдению/фиксированию специальной аппаратурой характер процесса восприятия и понимания текста, его абстрактность [Уканакова, 2014: 191], «неосознаваемость» и «нефиксируемость» деталей процесса реципиентом приводят к тщательному отбору методик проведения исследования подобного объекта и преобладанию гуманитарных, герменевтических методов над эмпирическими.

На сегодняшний день простота и доступность коммуникации и текстового творчества в пространстве Сети изменили структуру отношений «текст — реципиент», иными словами, «взаимообращенных процессов, происходящих между человеком и его информационной средой» [Дридзе, 1996]. Современное общество оказывается погруженным в безграничный гипертекстовый клубок,

превратившийся не только в своеобразную реальность и «поле деятельности», но и практически в условие существования первого. Социальная информационная реальность не является застывшей и перманентной, она ежеминутно и постоянно изменяется и создается посредством значений, формирующихся и воспроизводящихся в процессе непрерывного взаимодействия [Бергер, Лукман, 1995: 13]. Совокупность таких представлений о реальности, или «знание», для дальнейшего существования в обществе требует объяснения и когнитивного обоснования. Явление *легитимации* оправдывает существование элементов социальной реальности, придает им характер нормы. Тем самым легитимация оперирует не только на уровне «ценностей», но и на более глубоком уровне «знания», поясняя индивиду, почему вещи являются такими, какие они есть [Луков, 2011: 4–5]. Являясь комплексным явлением, легитимация представляет собой объект изучения нескольких отраслей науки. В социологии описано несколько «уровней легитимации» — от «воспитательных» объяснений родителей ребенку до сложносоставленных религиозных или философских систем [Ростова, Макаров, Булкин, 2016: 149–153]. Политолог М. Вебер пишет о трех видах легитимации: *традиционная* (основа — традиции и обычай [Fairbrother, 2016: 418]), *характеристическая* (основа — авторитет личности), *рациональная* (основа — разумные суждения, установленный в государстве правопорядок, правовые нормы) [Вебер, 1990: 635]. Стратегии легитимации могут быть как *открытыми* («хорошие дети не таскают кошку за хвост»), так и *намеренно скрытыми* (тексты средств массовой информации), нацеленными на формирование альтернативной социальной реальности. Подобная скрытая легитимация выглядит оторванной от непосредственного социального контекста [Johnson, Ridgeway, 2006] и практического применения. Однако, создавая в обществе новые структуры «знания», легитимация может быть использована для создания новых социальных институтов [Телятник, 2017: 23]. Примером скрытой легитимации может служить процесс, направленный на «установление» однополых браков в российском гражданском обществе с помощью средств массовой информации [Колмогорова, 2018: 101]. Специалисты по дискурсивному анализу [Abdi, Basarati, 2018] рассматривают легитимацию как особую дискурсивную стратегию «встраивания» легитимируемого явления в существующую систему

ценностей общества путем описания упомянутого явления в положительном свете [Колмогорова, 2018: 33–39; Vaara, 2010].

Конвергентная журналистика и журналистика «погружения»

Одни из наиболее ярких качественных и количественных изменений текстового пространства можно наблюдать сегодня в публикациях, появляющихся online в рамках *конвергентной журналистики* в качестве реакции на новостные, политические, общественные события. Сближение телевидения, Интернета, радио и газет в мультимедийной среде и стирание границ между ними, превращение их в единый информационный ресурс на рубеже XX–XXI вв. привели к изменениям в системе средств массовой информации [Вартанова, 1999: 12]. Крупные информационные компании достаточно долгое время пользуются «иными», отличными от традиционных, формами медиапродукта — такими как радиостанция в сети Интернет, online-газета, web-телевидение [Там же: 12]. Социальные сети рассматриваются ими как инструмент для продвижения информационного контента. Изменения коснулись не только формы существования медиапродукта, но и количественного и качественного состава носителя информации.

Многие исследователи отмечают не только стремительное увеличение объема проходящей через сознание человека информации, но и обесценивание ее в современном обществе [Ross, Rivers, 2017: 1–11]. Ценность и значимость приобретает не сама информация, а интересная форма ее подачи [Sharifi, 2017; Terlouw, 2014]. Так, структура и подача информации в современном телевизионном репортаже постепенно приближаются к жанру видеоблогинга [Hammou, 2016: 69]. Современный журналист-профессионал рассуждает «многомедийно» и способен работать с разными потоками информации в разных средах, обладать навыками работы в цифровой среде (digital skills) [Качкаева, 2010]. Ярким примером конвергентной журналистики является созданная в декабре 2013 г. американская медиакомпания VICE News, основные принципы которой звучат как «coverage of under-reported stories» и «for young people everywhere» [Dumenco, 2014]. Звучащий в слогане термин *under-reported* (не полностью освещенный), а также отсылка к возрасту целевой аудитории, в данном контексте противопоставляют VICE News традиционным новостным каналам, рассчитанным на аудиторию

«от 60 лет и старше» и не открывающим зрителям «всей правды» [Там же]. Основные площадки вещания VICE News находятся в интернет-пространстве на сайтах YouTube и vicenews.com, однако на сегодняшний день сводки новостей VICE News уже показываются в специальном формате на канале HBO [Бочаров, 2014]. Традиционная форма телевизионного вещания выступает лишь своеобразным рекламным ходом, рассказывающим потенциальнym партнерам о канале.

Разноформатные репортажи VICE News несут на себе отпечаток изменений, произошедших с СМИ за последние годы. Online-журнал представляет собой коллекцию «лонгридов» (статья с разнородным мультимедиальным контентом, состоящим из текста, фотографий, звука и видео). Тематика «лонгридов» обширна: затрагиваются как политические, остросоциальные события, так и культурная жизнь общества (обзоры новинок кино, музыки, книг). Способность таких статей погружать реципиента в атмосферу описываемого события с полным правом позволяет отнести их к явлению immersion journalism (журналистика погружения). Например, статья *Millennials Are Missing Out on Life Because They Have More Debt Than Savings* («Дети 2000-х «откладывают» жизнь на потом из-за долгов по кредитам») от 4 апреля 2018 г. представляет данные соцопроса среди молодых людей не старше 34 лет, выявившего, что «миллениалы» откладывают создание семьи, рождение детей, покупку дома/машины и создание пенсионных накоплений из-за накопившегося долга по кредитным картам. Рассматриваемый лонгрид сопровождается ссылками на следующие ресурсы:

- на страницу соцопроса в Сети;
- на pdf-документ с полными данными соцопроса;
- на статьи с потенциально полезной для целевой аудитории информацией *How to Choose a Credit Card That Fits Your Lifestyle* («Как выбрать кредитную карту, подходящую твоему стилю жизни») и *How to Save Money When You're Young, Dumb, and Broke* («Как копить, если ты молод, глуп и уже на мели»). Первая статья рассказывает о выборе типа кредитной карты с учетом покупательских привычек и кредитной истории читателя. Вторая статья представляет собой опыт использования журналистом мобильных приложений для учета расходов по категориям товаров;
- видео *Manage Your Debt With Sean Leon* («Управляй долгами с Шоном Леоном»), в котором блогер предлагает собственные «лайфхаки» — рецепты для уменьшения кредитного долга.

Традиционные журналистские жанры получают новое звучание в журналистике погружения. Так, на сегодняшний день достаточно популярны «открытые интервью», когда текст состоит только из списка вопросов и комментариев журналиста с предполагаемыми ответами интервьюируемого. Последний по определенным причинам (нахождение в недоступном для журналиста месте, нежелание давать интервью по этическим/политическим соображениям или из-за «неудобных» вопросов) отсутствует. Подобное открытое интервью зачастую «бросает вызов» интервьюируемому. В таком случае читателям предлагается следить за его/ее аккаунтом в социальной сети, как правило, в Твиттере, на тот случай, если собеседник решит ответить на вызов журналиста. Предлагаем обозначить такую тактику **«реконструирующей»**. Пример открытого интервью — *Questions for the Science Teacher Who Allegedly Fed a Live Puppy to a Turtle* («Вопросы к учителю естествознания, который якобы скормил живого щенка черепахе») от 18 марта 2018 г. Статья рассказывает об уроке в американской школе, в ходе которого учитель продемонстрировал силу челюстей каймановой черепахи, скормив ей приведенного с улицы больного щенка. Статья характеризуется разговорным стилем речи, фамильярной и табуированной лексикой (пр. 67):

67) *Is this part of the Common Core?*

Just maybe, there's some fucked-up chapter in the Common Core curriculum nobody knows about. Next to the segment on cumulus clouds, before you get to sedimentary rocks and stalactites, perhaps there's a paragraph all about the best way to feed a bloodthirsty reptile the cutest animal known to man. Or maybe Crosland just went a little off book.

Это что, часть государственного образовательного стандарта?

А вдруг и правда в государственном стандарте есть какая-то дурацкая глава, о которой никто слыхом не слыхивал. Сразу после параграфа о кучевых облаках, не доходя до осадочных пород и сталактитов, прячется абзац, в котором расписано, как наилучшим образом скормить кровожадной рептилии одно из милейших созданий, известных человеку. А может, Крослан^д слегка отвлекся от книги (Schwartz D. *Questions for the Science Teacher Who Allegedly Fed a Live Puppy to a Turtle*).

Подобным образом публикуются «интервью» с преступниками, находящимися в местах отбывания наказания, или по иным

причинам недоступными для журналиста. В Рунете представлен целый пласт текстов «реконструированных» интервью с жившими ранее знаменитыми философами, писателями, художниками, политическими и религиозными фигурами (Аристотелем, Микеланджело, Мэрилин Монро и др.). Журналист внимательно изучает письма /цитаты /труды «интервьюируемого», а после реконструирует вопросы к найденным ответам. Ниже (пр. 68) приведен пример из воображаемого интервью с Винсентом ван Гогом:

68) Винсент, что (кроме, конечно, первой буквы) общего у живописи и жизни?

В жизни то же, что в рисовании: иногда нужно действовать быстро и решительно, браться за дело энергично и стремиться к тому, чтобы крупные линии ложились с быстрой молнией (Стельмашонок С. Воображаемое интервью с Винсентом ван Гогом).

Такие интервью получили название «журналистики воображения» [Елистратов, 2015]. Некоторые из них, доведенные до абсурда (интервью с Лермонтовым о событиях в Донбассе издания «Русская планета»), вызывают резкую критику в социальных сетях с комментариями «воображаемые журналисты берут друг у друга воображаемые интервью», «Надеюсь, у авторов идеи интервью с воображаемым Лермонтовым есть хотя бы воображаемая девушка», «в редакцию Русской Планеты завезли наркотики» [Там же]. Пользователи Сети начинают придумывать, у кого из усопших стоило бы еще взять интервью: «жду интервью с Есениным о Басаеве» и т. д [Там же].

Существует и другая тактика проведения захватывающего интервью в журналистике погружения — «компенсирующая». Журналист беседует о знаковом событии, но не с личностью, находящейся в фокусе интереса читателей, а с членом его /ее семьи, одноклассником, другом, очевидцем произошедшего и т. д. Пример — видео *Growing Up with a High School Shooter* (*Вырасти рядом со школьным стрелком*). Короткое видео представляет черно-белый анимационный ролик, сопровождающийся комментариями одноклассника 17-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе 27 февраля 2012 г. Информация преподносится в разговорном ключе, у зрителя создается впечатление дружеской беседы «по душам»:

69) *TJ was actually one of our friends in middle school. He had been to my Grandma's house. One of the kids, who was also shot, his mother used to babysit him. It's hard to say now, but we were friends up until high school, then he kind of distanced himself from everyone. There was*

a lot of stuff that came out about bullying — the typical stuff you hear after these mass shootings. But it was never like that in our scenario, which is actually strange.

Вообще-то, мы дружили с Ти-Джеем в средних классах. Ходили в гости к моей бабушке. И мама того парня, который был застрелен, сидела с Ти-Джеем в детстве. Сложно сказать сейчас, но, вероятно, дружили мы аж до старших классов, когда и он отдалился от всех. Обычно всплывает много фигни о травле одноклассниками, — об этом часто слышишь после массовых расстрелов. Но в нашем случае и намека на это не было, — что, по крайней мере, странно (*Growing Up with a High School Shooter*).

Описанные выше тактики интервьюирования (реконструирующая и компенсирующая) в полной мере способствуют выполнению журналистикой погружения (*immersion journalism*) своей миссии — преподнесение новостей в таком личностном ключе, который позволяет зрителю «погрузиться» (*to immerse*) в атмосферу событий.

Подобный принцип эмоциональной, субъективной подачи новостей от лица репортера, находящегося в центре событий, не является новым. В середине XX в. он уже находил реализацию в явлении гонзо-журналистики. Эпитет «*gonzo*» (*having a very strange or unusual quality, подчеркнуто необычный, эксцентричный, безумный*) [Игошина, Носков, 2014: 8; Уканакова, 2016: 193] применительно к течению журналистики предусматривал крайнюю субъективность подобных репортажей, в корне отличающую их от традиционной «объективной» журналистики: *idiosyncratically subjective, engagé (journalism); often including the reporter as part of the story via a first-person narrative*. Характерными чертами гонзотекстов являлись эмоциональная насыщенность (*energetic ... writing style* [Цит. по: Уканакова, 2016: 192]), яркая стилистическая окраска и зачастую острыя социальная тематика (... *draws its power from a combination of both social critique and self-satire...* [Там же]).

Зародившись как мимолетный культурный феномен, стиль гонзо не прекратил свое существование на сегодняшний день [Луговая, Сыраев, 2016: 154–157]. С учетом приведенных выше особенностей современных СМИ можно говорить о новом формате — *конвергентной гонзо-журналистике*.

Исследователи стиля гонзо отмечают трансформацию этого явления на современной почве. Если ранее оно проявлялось не столько в системе «традиционных СМИ», сколько в среде

эклектичных интернет-ресурсов [Луговая, Сыраев, 2016: 154-157], то постепенно оно начинает претендовать на роль *инструмента отражения объективной реальности, истины в последней инстанции* (Русское гонзо. URL: <http://ria.ru/20090728/178891630.html>).

Рассмотрим характеристики, роднящие журналистику погружения XXI в. с ее «гонзо»-предшественницей. Основой обоих видов журналистики является принцип субъективизма. *Настоящее «гонзо» — это когда человек пишет с места события репортаж не о том, что происходит с людьми, а о том, что происходит с ним самим* (Русское гонзо. URL: <http://ria.ru/20090728/178891630.html>). События и мысли, увиденное и услышанное преподносятся не в порядке, которого требует традиционный репортаж, а в том, в котором они возникли в голове журналиста. Автор текста — наблюдатель, без которого невозможно возникновение самого события текста, и одновременно главный герой (*protagonist*) последнего. Подобный «дистиллированный субъективизм» подразумевает неоднородность структуры любого гонзо-текста, нелинейность его повествования и вполне соотносится с самыми современными форматами подачи информации — Youtube-каналы, видеоблогинг. Зачастую сам ведущий зрителю более интересен, чем тематика и сообщаемая им информация, тем самым любой гонзо-текст можно рассматривать как эго-текст [Митина, 2008: 138-141]. Эго-текст может быть определен как корпус автобиографических текстов, существующий в многообразии жанров, скрепой которых является авторское «Я», выступающее генерирующим центром идей, переживаний и действий [Митина, 2008: 138-141]. Согласно общим тенденциям развития цивилизации и культуры подобная «эготизация» создаваемых на сегодняшний момент текстов созвучна с антропным принципом космологии, принятым современной методологией науки: «Вселенная и наше положение в ней определяются нашим существованием в ней в роли наблюдателей» (...the universe must be compatible with our existence as observers...) [Crossman, 2014]. (URL: <http://www.allancrossman.com/ap/anthropic.html>). Иначе говоря, ни одна вселенная (в нашем случае событие, новость, явление социальной жизни) не существует без своего наблюдателя (репортера).

Не менее чем фигура Автора, важна в журналистике погружения и фигура читателя, реципиента. Выходя на прямой, «по душам», разговор с читателем «на ты», гонзо-журналист преследует цель не понравиться и не дать объективную «сухую» картину

происходящего, а удивить, шокировать аудиторию, бросить вызов самому обществу и принятой, устоявшейся системе ценностей. Преследуя эту цель, автор буквально «погружает» читателя в описываемые события, применяя целый спектр всевозможных средств — начиная от обилия (порой нарочитой избыточности, с целью передать собственный эмоциональный настрой) изобразительных средств текста до метафор «органов чувств» (вкусовых, зрительных, слуховых, тактильных) и техники «программирования», погружения реципиента текста в ситуацию. В качестве примера приведем комплексную «ситуационную» метафору, примененную Т. Вулфом, классиком «новой журналистики», по отношению к системе послевузовского образования:

Таблица 2
Анализ компонентов метафор текстов классической гонзо- журналистики и современной журналистики погружения

Компонент метафоры	Антология новой журналистики	I Went to a 'Bar Fight Seminar'
Вкусовой	...без капли <i>воды</i>	<i>A measure of alcohol... mixed with...topped... is the perfect recipe</i>
Тактильный	...с <i>разогретым докрасна</i> обогревателем	<i>crowded bar</i> -тесный бар
Слуховой	<i>расположился рядом ...и излагает вам свои политические теории.</i>	<i>Brawl</i> -шумная драка
Зрительный	Заперли в купе (пространство ограничено)	<i>A crowded bar</i> (пространство ограничено)
Избыточность выразительных средств	, что вас заперли в купе поезда... обогревателем, <u>который включил какой-то псих...</u> <u>Джордж Макговерн</u> расположился рядом и подробно излагает вам свои политические теории.	<i>topped with some Greek temperament is the perfect recipe for an all-out brawl.</i>

70) Вообразите, что вас заперли в купе поезда Прибрежной линии, в шестнадцати милях от Гейнсвилла, штат Флорида,

на пути из Майами в Нью-Йорк, без капли воды и с разогретым докрасна обогревателем, который включил какой-то псих, и что Джордж Макговерн расположился рядом и подробно излагает вам свои политические теории. <...> Примерно такая атмосфера царит в магистратуре (Булф Т. Новая журналистика и Антология новой журналистики).

Сравним с комплексной метафорой из статьи портала VICE News *I Went to a 'Bar Fight Seminar'* («Я посетил семинар "барного боя"») (табл. 2).

71) *It seems that a measure of alcohol mixed with a crowded bar and topped with some Greek temperament is the perfect recipe for an all-out brawl.* Оказалось, что глоток алкоголя с каплей атмосферы забитого людьми бара, сбрызнутый зажигательным греческим темпераментом, — идеальный рецепт коктейля «Драка против всех» (Konstantaras A. I Went to a 'Bar Fight Seminar' to Learn to Defend Myself Against Angry Drunks).

Очевидно, что тексты жанра «новой журналистики» находятся на стыке документальной и художественной прозы. Характерная для них репортерская эмоциональность, а также богатая палитра средств ее выражения [Sica, Huber, 2017: 337–343] создают иные (во многом более благоприятные) условия для реализации стратегий и тактик (де)легитимации.

Особенности реализации стратегий легитимации в современных текстах конвергентной журналистики и журналистики погружения

Основой для настоящей публикации послужил стратегический подход к явлению легитимации Тео ван Левена [Leeuwen, 2007]. Т. ван Левен описывает четыре основные дискурсивные стратегии легитимации:

- стратегия апелляции к авторитету;
- стратегия моральной оценки;
- стратегия рационализации;
- мифопоэтическая стратегия.

Рассмотрим особенности реализации данных стратегий в текстах интернет-журналистики погружения.

Стратегия апелляции к авторитету включает в себя некую ссылку в тексте на мнение человека/общественного института, значимого для читателя/реципиента по одному из следующих признаков:

- высокий статус в обществе;
- профессиональное, экспертное мнение в вопросах оценки легитимируемого явления /феномена;
- медиинность личности, нахождение в центре внимания общественности, в том числе «скандальная известность» [Suchman, 1995: 571-610];
- безличность, нормативность, институциональность;
- традиционность, долгосрочность;
- массовость, авторитет большинства.

Так, А.В. Колмогорова приводит пример применения стратегии апелляции к авторитету «большинства» из статьи М. Комарова «Почему в России не будут разрешены однополые браки» [Колмогорова, 2018]. Статья делегитимирует нетрадиционные отношения путем обращения как к авторитету традиции (*У русского народа другой менталитет, этические нормы. Издревле такая склонность считалась постыдно позорным недугом...*), так и к авторитету «большинства населения» (*у нас и нашего правительства хватит трезвого рассудка <...> не перейти эту позорную черту... У нас тоже некоторая часть извращенцев требует легализации таких уродливых браков...*). Автор четко разграничивает понятия «свой» — «чужой».

В журналистике погружения стратегия апелляции к авторитету приобретает несколько иное звучание — журналист чаще апеллирует к собственному опыту «погружения» в (де)легитимируемый феномен. Авторская, личностная подача материала, разговор с читателем с позиции «я — это ты» позволяют ему быть «на одной волне» с реципиентом. Анализируемые тексты не только не ссылаются на традиции/большинство/нормативность действия, но и демонстрируют намеренную отдаленность, отгороженность от власти /правительства /правовых институтов. Предлагаем обозначить данный способ реализации апелляции к авторитету *субстратегией противопоставления авторитету*. Например, в упомянутой выше статье о «барном бое» журналистом легитимируется защита себя «любыми доступными средствами, в том числе противоправными с точки зрения государства» [Laïfi, Josserand, 2016]. Кроме того, автор выражает недоверие охране клуба и полиции:

72)<...>if you find yourself under attack in a bar, you shouldn't count on security to take your side. ***All any bouncer will care about is throwing the both of you out***, which means the fight could carry on

in the street. Если на вас совершено нападение в баре, даже не расчитывайте на службу безопасности. Все, что сделает охранник, — выбросит вас обоих на улицу, где и продолжится драка (Konstantaras A. I Went to a ‘Bar Fight Seminar’ to Learn to Defend Myself Against Angry Drunks).

Другой пример — интервью с «Бостонским Джорджем», история жизни которого легла в основу фильма «Кокайн» (режиссер — Тед Демми, 2001). В задаваемых вопросах очевидна четкая грань между «мы» (журналист, читатели, интервьюируемый Дж. Джанг) и «они» (правовое государство Соединенных Штатов Америки).

73) *Are you out of prison for good now? Or, technically, do they still have you on the leash?* **Ну, теперь-то Вы окончательно на свободе?** Или они до сих пор держат Вас **на коротком поводке?** (Ferranti S. George Jung, the Inspiration Behind ‘Blow,’ Says Prison Saved His Life).

Автор не отделяет себя от читателей и собеседника, позиционирует себя «единым целым» с ними, что позволяет вести доверительный разговор и придает ценность высказанному мнению. Журналист обращается к *субстратегии мимикрии под читателя*.

Другой сценарий легитимации, характерный для журналистики погружения, осуществляется через апелляцию журналиста к экспертному мнению. Различие со статьями «традиционной» журналистики состоит в том, что во многих случаях экспертом по легитимируемому феномену в журналистике погружения выступает авторское «Я». Автор приводит основания, по которым его можно считать профессионалом, в данном случае его жизненный опыт:

74) *I like to consider myself a pro on beating drug tests because I've passed numerous <...>* Меня можно считать специалистом по вопросу, как не проколоться на тесте на наркотики, ведь я сдавал такие пробы множество раз (Ferranti S. How to Beat a Drug Test, According to Experts).

Согласно сути жанра журналистики погружения популярны тексты-повествования «от первого лица», например, *My Heroin Rehab Diary* («Дневник реабилитации героиновой наркоманки»), описывающий опыт пребывания автора в тайской лечебнице. Журналистка выступает против наметившейся тенденции легализации некоторых наркотических средств в США и Европе.

Предлагаем назвать такой способ (де)легитимации *субстратегией авторской экспертизы*. Кроме того, в данной публикации очевидно применение *субстратегии противопоставления авторитету*. Автор анализирует себя и всю ситуацию со стороны, смотря на все «глазами общественности»:

75) *Minus the drugs and alcohol, we look okay on paper. Among us <...> is a physicist, computer programmer, Broadway producer, stockbroker, advertising executive, Michelin chef, police officer <...>*

Без упоминаний о наркотиках и алкоголе, на бумаге **мы выглядим прекрасно**. **Среди нас <...>** — ученый-физик, биржевой маклер, исполнительный директор рекламного агентства, шеф ресторана звезды Мишлен, офицер полиции, <...> (Brooks H. My Heroin Rehab Diary).

Стоит отметить, что авторы статей направления «журналистики погружения» намного реже прибегают к определенным субстратегиям (де)легитимации, чем это происходит в «традиционных» направлениях. К таким «непопулярным» субстратегиям относятся:

- апелляция к правопорядку, правовым нормам и структурам;
- апелляция к авторитету традиции, общественным устоям и порядкам;
- апелляция к авторитету «массы», большинства.

Очевидно прослеживается противоположная тенденция — бросать вызов, противостоять перечисленным авторитетам (правопорядку, традициям, обществу).

Стратегия моральной оценки, на наш взгляд, — один из наиболее характерных сценариев реализации (де)легитимации в современной конвергентной журналистике и журналистике погружения. Это связано с «избыточностью» выразительных средств, свойственной гонзо-журналистике, прямыми наследниками которой и являются современные формы конвергентного журнализма. Крайне субъективная позиция автора выражается в насыщенности текстов оценочными метафорами и эпитетами-прилагательными. Приведем пример из статьи, призывающей признать незаконной reparatивную терапию (лечение, направленное на изменение гомосексуальной ориентации человека на гетеросексуальную):

76) *<...> trauma is not a means for growth. Conversion therapy is stagnant, ineffectual, and tragic. And so, too, are its perpetrators and*

its victims. Conversion therapy is still legal in 41 states, despite being deeply unethical and pseudoscientific.

Травма не может дать почву для роста. Репаративная терапия застойна, неэффективна и порой приводит к трагичному результату. Ее приверженцы — преступники и их жертвы ей под стать. Репаративная терапия, будучи глубоко **неэтичной и псевдонаучной** по сути, до сих пор легальна в 41 штате (Clark N. "Miseducation of Cameron Post" Explores the Quiet Torture of Gay Conversion Therapy).

Текст статьи наполнен негативно-оценочными прилагательными, выражающими экстремально негативное отношение автора к репаративному «лечению» (*ineffectual, stagnant, tragic, deeply unethical, pseudoscientific*). Кроме того, в первом предложении используется метафора *therapy* → *crime* (лечение → преступление), которая развивается и дальше по тексту (*doctors* → *perpetrators*; врачи → преступники, *patients* → *victims*; пациенты → жертвы).

Рассмотренные тексты характеризовались также применением **субстратегии аналогии**. Данная субстратегия заключается в том, что объект легитимации необходимо принять, потому что он имеет свойства, сходные с характеристиками другого объекта, ценность и значимость которого неоспоримы [Колмогорова, 2018: 107]. Публикация *Meet the Nudists Willing to Sue Their City for the Right to Get Naked* («Знакомьтесь, нудисты, подавшие в суд на городское управление за право гулять обнаженными»), призывающая легализовать нудизм, демонстрирует применение субстратегии аналогии (adult=kid, взрослый человек=ребенок).

77) *Kids are natural nudists <...> You get out of the tub and the first thing you do is take off running.* Дети — нудисты от природы. Только вылезут из ванны, сразу бегают голышом (Holslin P. Meet the Nudists Willing to Sue Their City for the Right to Get Naked).

Субстратегия абстрагирования применяется авторами журналистики погружения реже вследствие специфики жанра, его практической, «приземленной направленности», глубокой связи с личным опытом автора текста, желанием «уйти от морализаторства».

Среди применяемых с высокой частотностью субстратегий рационализации стоит отметить **целевую и инструментальную**, а также **субстратегию, ориентированную на результат**.

В последнем случае повествование в тексте может идти не только о положительном, но об отрицательном результате. Например, статья *The Legal Industry for Kidnapping Teens* («Законная индустрия похищения подростков») призывает признать незаконной деятельность компаний, экспедирующих несовершеннолетних (потенциальных) правонарушителей к месту прохождения ими программ лечения и реабилитации. Публикация демонстрирует применение субстратегии, ориентированной на негативный результат, и начинается с истории психологической травмы подростка Дэвида, «похищенного» с разрешения родителей.

78) *I was scared for my life, - David, who is now 15, told me. What happened to him, <...> was completely legal. They <...> talk about nightmares, not being able to sleep alone, or needing a night light.* Я испугался, что меня убьют, — рассказал мне 15-летний Дэвид. То, что с ним произошло, совершенно законно. Такие подростки жалуются на кошмары, неспособность заснуть в одиночестве или без ночного света (Solomon S. The Legal Industry for Kidnapping Teens).

В рамках одной стратегии может происходить комплексное применение нескольких субстратегий в одном тексте. Так, статья *I Went to the 'First Nudist Club Night' in Paris* («Я посетил первый нудистский ночной клуб в Париже») иллюстрирует применение и инструментальной, и целевой субстратегий.

Целевая субстратегия:

79) *So to test out my sense of self, I decided to get completely naked in a nightclub full of strangers.* Чтобы познать себя, я решил раздеться в ночном клубе, полном незнакомцев (Monville Q. I Went to the 'First Nudist Club Night' in Paris).

Инструментальная субстратегия:

80) *<...> by shifting the focus away from interacting with other people with any romantic intentions, the organizers enabled you to focus more on yourself. It was refreshing, and I highly recommend getting naked in a nightclub — as long as everyone else is, too.* Гости не общались друг с другом с романтическими намерениями, что позволило сфокусировать внимание каждого на себе. Это было ново и занято, и я настоятельно рекомендую вам попробовать раздеться в ночном клубе, в случае если на всех остальных отсутствует одежда (Monville Q. I Went to the 'First Nudist Club Night' in Paris).

Мифопоэтическая стратегия зачастую заключается в «эксплуатировании» образов, обладающих достаточной устойчивостью

в общественном сознании. Например, метафора «врачи→убийцы» в упомянутой выше статье, делегитимирующей репартивную терапию, берет начало в достаточно устойчивом архетеипе общественного сознания (для сравнения: убийцы в белых халатах, помощники смерти и т. д. В психологии и психиатрии описаны случаи ятрофобии — боязни врачей). Достаточно популярен в журналистике погружения образ «государства», которое воспринимается читателями на бессознательном уровне как «чрезмерно и несправедливо строгое, жестокое, слепое»:

81) *That's what prohibition (which includes policies that levy draconian punishments for pill possession) does — it causes rippling effects in human behavior.*

Вот что творят запреты (в частности, **политика применения драконовских мер к подозреваемым в хранении наркотических средств**), — они приводят к плохим последствиям в поведении людей (Steigerwald L. Legalize Heroin!).

По результатам анализа англо- и русскоязычного текстового материала были сделаны следующие выводы:

1. Современная журналистика погружения (immersion journalism) является последовательницей «новой» журналистики 1960-х гг., унаследовав от последней неоднородность текстовой структуры, условность грани между репортерским повествованием и художественной литературой, богатство выразительных средств и подчеркнуто субъективную авторскую позицию. Реконструирующая и компенсирующая тактики интервью способствуют появлению феномена «журналистики воображения» и направлены на «погружение» читателя в событие текста.

2. В среде конвергентной журналистики созданы *благоприятные условия* для реализации феномена (де)легитимации и развертывания ее тактик и стратегий:

— мультимедийный характер конвергентной журналистики, насыщенность ее ссылками на «доказательные» ресурсы (фото- и видеоисточники информации), верифицирующими преподносимую журналистом информацию в глазах читателя;

— стремление «погрузить» читателя в событие текста;

— подчеркнуто субъективная авторская позиция, зачастую автор является протагонистом собственного текста;

— близость подобных журналистских текстов к художественной литературе.

3. Наиболее характерными для конвергентной журналистики погружения стратегиями (де)легитимации являются:

- стратегия апелляции к авторитету, реализуемая через субстратегии противопоставления авторитету, мимикрии под читателя, авторской экспертизы;
- стратегия моральной оценки (высокая частотность ее применения связана, на наш взгляд, с характерной избыточностью выразительных средств и крайней субъективностью текста, наличием авторской позиции «существует только одно верное мнение, и оно мое»);
- стратегия рационализации, реализуемая через целевую, инструментальную субстратегии и субстратегию, ориентированную на результат;
- мифопоэтическая стратегия (применение клишированных архетипических образов, устойчивых в общественном сознании).

3. Гораздо реже применяются в конвергентной журналистике и журналистике погружения следующие способы реализации стратегий Т. ван Левена:

- субстратегия апелляции к правопорядку, правовым нормам и структурам;
- субстратегия апелляции к авторитету традиции, общественным устоям и порядкам;
- субстратегия апелляции к авторитету «массы», большинства;
- субстратегия абстрагирования.

Феномен (де)легитимации, безусловно, выходит за рамки науки о языке, затрагивая области социологического и педагогического знаний. Более детальное исследование механизмов и способов реализации (де)легитимации не только позволит научиться практическому поиску и определению (де)легитимирующих моментов в окружающем нас текстовом пространстве (от чего будет зависеть формирование мировоззрения и мировосприятия как социума, так и отдельной личности), но может стать инструментом более глобального исследования работы сознания с текстом.

Список литературы

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.

Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция в СМИ. М.: Аспект-Пресс, 1999. 335 с.

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.

Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии [Электронный ресурс] // Общественные науки и современность, 1996. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/931/005/1218/016_Dridze.pdf (дата обращения 10.01.2019).

Елистратов В. Блогеры высмеяли «воображаемое интервью» с Михаилом Лермонтовым в издании «Русская планета» [Электронный ресурс] // TJournal, 2015. URL: <https://tjournal.ru/55659-interview-with-classic> (дата обращения 13.01.2019).

Игошина О.А., Носков А.С. Место гонзо-журналистики в системе современных СМИ [Электронный ресурс] // Огарев-ONLINE. 2014, 5 (19). С.8. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21458982> (дата обращения 11.02. 2019).

Качкаева А.Г. Журналистика и конвергенция. Почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные. М.: 2010. 200 с.

Колмогорова А.В. Дискурсивные стратегии легитимации однополых браков в российском медиапространстве // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 2. С. 99–117.

Колмогорова А.В. Легитимация как социополитический феномен и объект дискурс-анализа // Политическая лингвистика. 2018. № 1. С. 33–39.

Луков В.А. Статья 1: Бергер и Лукман, Бурдье, Гофман, Гидденс, Хабермас // Тезаурусный анализ мировой культуры. 2011. Вып. 22. С. 3–21.

Луговая Ю.А., Сыраев Р.Р. Экспрессивные средства гонзо-журналистики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3–2. С. 154–157.

Митина С.И. Философский эго-текст как репрезентант личности мыслителя // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2008. № 10 (111). С. 138–141.

Ростова А.Т., Макаров О.Ю., Булкин Ю.А. Социология культуры в познании закономерностей общества // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. 2016. № 1 (174). С. 149–153.

Телятник Т.Е. Технологии легитимации политической власти в условиях современного политического процесса // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 6. С. 23–25.

Уканакова Н. В. Когнитивный механизм выражения авторского я в процессе формирования текстовой проекции (на материале вторичных авторски-сфокусированных текстов) // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2016. № 4 (386). С. 191–201.

Abdi R., Basarati A. Legitimation in Discourse and Communication Revisited: A Critical View toward Legitimizing Identities in Communication // International Journal of Society, Culture and Language. 2018. 6(1). 86–100.

Vaara E.A Recursive Perspective on Discursive Legitimation and Organizational Action in Mergers and Acquisitions // Organization Science. 2010. Vol. 21, Iss.1. URL: <https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0394> (дата обращения 09.02.2019).

Fairbrother G.P., Zhao Zh. Paternalism, National Citizenship, and Religiosity in Chinese State Legitimation Discourse// Journal of Chinese Political Science. 2016. Vol.21. Pp. 417–434.

Galvan R. T., Beltran M. T.G. Discourses of legitimation and loss of sons who stay behind // Discourse and Society. 2016. Vol 27. Issue 4. URL: <https://doi.org/10.1177/0957926516634542> (дата обращения 09.02.2019).

Hammou K. Mainstreaming French rap music. Commodification and artistic legitimization of other cultural goods // Poetics. 2016. Vol. 59. Pp. 67–81.

Johnson C., Dowd T.J., Ridgeway C.L. Legitimacy as a social process// Annual Review of Sociology. 2006. Vol. 32. Pp. 53–78.

Laïfi A., Josserand E. Legitimation in practice: A new digital publishing business model // Journal of Business Research. 2016. Vol. 69. Pp. 2343–2352.

Leeuwen T. van. Legitimation in discourse and communication // Discourse & Communication. 2007. Vol.1. Iss. 1. URL: <https://doi.org/10.1177/1750481307071986> (дата обращения 09.02.2019).

Ross A.S., Rivers D.J. Digital cultures of political participation: Internet memes and the discursive delegitimization of the 2016 U.S Presidential candidates // Context and Media. 2017. Vol.16. Pp.1–11. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cdm.2017.01.001> (дата обращения 09.02.2019).

Sadeghia B., Hassanib M., Jalalic V. Towards (De-)legitimation Discursive Strategies in News Coverage of Egyptian Protest: VOA & Fars News in Focus // Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 98. Pp. 1580–1589. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.03.581

Sharifi M., Ansari N., Asadollahzadeh M. A critical discourse analytic approach to discursive construction of Islam in Western talk shows: The case of CNN talk shows // International Communication Gazette. 2017. Vol 79. Issue 1. URL: <https://doi.org/10.1177/1748048516656301> (дата обращения 09.02.2019).

Sica C., Huber M. We Can't Be Dependent on Anybody: The rhetoric of Energy Independence and the legitimization of fracking in Pennsylvania // The Extractive and Society. 2017. Vol. 4. Pp. 337–343.

Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of Management Revue. 1995. Vol. 20. № 3. P. 571–610.

Terlouw K. Iconic site development and legitimating policies: The changing role of water in Dutch identity discourses // Geoforum. 2014. Vol. 57. Pp. 30–39. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.08.008> (дата обращения 09.02.2019).

Vandergriff I. Taking a Stance on Stance: Metastancing as Legitimation // Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. 2012. Vol. 6 (1). Pp. 53–75.

Stratégies de (dé)légitimation dans le journalisme de convergence et celui d'immersion

La contribution est consacrée à l'étude du phénomène de la légitimation dans l'espace textuel et informationnel de deux pratiques journalistiques modernes: journalisme de convergeance et journalisme d'immersion. La recherche a pour objectif de mettre à jour et de décrire les mécanismes qui sont à la base des stratégies de (dé)légitimation de différents phénomènes et réalités sociaux faisant objet de l'énonciation journalistique. En partant de la typologie des stratégies discursives de la (dé)légitimation de T. van Leeven, j'analyse le corpus constitué par des textes publiés en russe et en anglais sur les plateformes informationnelles telles que VICE News, Meduza, Tjournal. Les textes soumis à l'examen démontrent des traits saillants propres au journalisme de convergence et au journalisme d'immersion.

La première particularité de ces nouvelles pratiques journalistiques est la subjectivité de la narration qui contraste avec la prétendue objectivité des «anciens» genres du discours journalistique et fait plonger le lecteur dans une ambiance authentique de l'événement.

Deuxième trait à pointer, la nature complexe et disparate du style de ces textes imprégné des styles des belles lettres et des genres documentaires. L'expressivité, affectivité et richesse des procédés

stylistiques nourrissent le pathos de ces pratiques journalistiques modernes. Des dossiers vidéo, des liens qui conduisent le lecteur aux photos et ressources multimédia assurent l'authenticité des propos du journaliste aux yeux du public ciblé.

Cette optique subjective et personnalisée qui assiste à la mise en scène du discours du «nouveau journalisme» crée des conditions propices à la réalisation des stratégies visant à légitimer ou délégitimer certains phénomènes ou pratiques sociaux. Mais la sélection de ces stratégies forme une configuration spécifique par rapport aux textes du journalisme «traditionnel».

L'ensemble des méthodes de l'analyse comparative, stylistique, sémantique du corpus des textes en anglais et en russe ainsi que le recours à la modélisation cognitive des occurrences métaphoriques nous ont permis de relever les stratégies les plus prisées par le journalisme de convergence et celui d'immersion:

- stratégie d'appellation à l'autorité, réalisée à l'aide des substratégies d'opposition à l'autorité, de camouflage au lecteur, de référence à l'opinion de l'auteur «expert»;
- stratégie d'appréciation normative nourrie par la redondance des procédés stylistiques et la focalisation subjective dans des textes du nouveau journalisme;
- stratégie de rationalisation mise en pratique par des substratégies instrumentales, résultatives et substratégie à visée pratique;
- stratégie mythopoétique exploitant les archétypes de la conscience collective.

Parmi les stratégies auxquelles les nouveaux journalistes ne font recours que très rarement ou que même ils évitent, on peut citer:

- la substratégie d'appel à l'ordre, aux normes et aux structures du droit;
- la substratégie d'appel à l'autorité de la tradition, des rites et des fondements de la société;
- la substratégie d'appel à l'autorité des masses, de la majorité;
- la substratégie de l'abstraction.

L'analyse effectuée montre que la légitimation se dessine comme un phénomène omniprésent extrêmement sensible aux mutations dans les sociétés et les communautés professionnelles, mutations qui font naître une nouvelle philosophie de vie dont les concepts de base nécessitent d'être mutualisés et légitimés.

Сведения об авторах

Грибачева Наталья Валериевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Диас Доминик, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка Университета Гренобль-Альпы (Франция).

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия по научной работе, заведующая кафедрой общетеоретических право-вых дисциплин.

Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры рекламы Санкт-Петербургского государственno-го университета.

Козачина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры восточных языков Сибирского федерального университета.

Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики Сибирского федерального университета.

Конкка Ольга, кандидат филологических наук, старший преподаватель отделения славянских языков Университета Бордо Монтень (Франция).

Косов Валерий Викторович, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка университета Гренобль-Альпы (Франция).

Паласиос Гонсалес Даниэль, аспирант Кёльнского университета (Германия).

Роль-Аранджелович Сандрин, кандидат филологических наук, доцент кафедры романских языков Университета Гренобль-Альпы (Франция).

Сакка Каразо Мириам, РНД, Национальный исследовательский совет Испании, Мадрид (Испания).

Снегирева Кристина Викторовна, студентка отделения иностранных языков Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета.

Liste des auteurs

- Dias Dominique**, Université Grenoble-Alpes (Grenoble, France)
- Dorskaia Aleksandra**, Université d'Etat Russe de justice (branche nord-ouest)
- Dorskii Andrei**, Université d'État de Saint-Pétersbourg (Saint-Pétersbourg, Russie)
- Gribatcheva Nathalia**, L'Université d'État de Pédagogie et Sciences Humaines de l'Oural du Sud (Tcheliabinsk, Russie)
- Kolmogorova Anastasia**, Université Fédérale de Sibérie (Krasnoïarsk, Russie)
- Konkka Olga**, Université Bordeaux Montaigne (Bordeaux, France)
- Kossov Valéry**, Université Grenoble Alpes (Grenoble, France)
- Kozatchina Anna**, Université Fédérale de Sibérie (Krasnoïarsk, Russie)
- Palacios González Daniel**, Université de Cologne (Cologne, Allemagne)
- Rol-Arandjelovic Sandrine**, Université Grenoble Alpes (Grenoble, France)
- Saqqa Carazo Miriam**, Conseil supérieur de la recherche scientifique (Madrid, Espagne)
- Snéguireva Christina**, Université Fédérale de Sibérie (Krasnoïarsk, Russie)

Научное издание

**Дискурс легитимации:
язык и политика
в эпоху глобальных вызовов**

Монография

Под общевой редакцией А. В. Колмогоровой

Редактор Е. Г. Иванова
Компьютерная верстка И. В. Греческой

Подписано в печать 22.01.2019. Печать плоская
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 13,5
Тираж 500 экз. Заказ № 8173

Библиотечно-издательский комплекс
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел. (391) 206-26-16; <http://bik.sfu-kras.ru>
E-mail: publishing_house@sfu-kras.ru

Для заметок

Для заметок